

Константин Боголюбов АТАМАН ЗОЛОТОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*А в з#972;ре жить — некручинну быть,
А кручинну в з#972;ре погинути!*
«Повесть о Горе и Злосчастии».

Молодой крепостной служитель Андрей Плотников вернулся из соляной конторы раньше обычного. Служители воспользовались тем, что правителя дел вызвали к управляющему соляными промыслами, и разошлись по домам. Распорядок же дня был нарушен из-за приезда в Усолье владельца — князя Бориса Григорьевича Шаховского. Слухи о прибытии сиятельной особы шли давно, и каждый по этому случаю мечтал об улучшении своей участи. Все пребывали в состоянии какой-то взволнованности, смутной тревоги и тайных надежд.

И вот барин приехал. Это было таким невиданным событием, что толпы народа повалили на тракт встречать князя. Он ехал в открытом экипаже, запряженном шестеркой лошадей. Спереди и сзади мчались верховые в малиновых ливреях с гербами.

Все это происходило вчера, а сегодня маленькому конторскому служителю Андрею Плотникову предстояло еще немало хлопот. Тетка, у которой он жил, велела наколоть дров. Она хотела успеть вытопить печь и настряпать рыбных пирогов для продажи на базаре. Но сначала Андрей решил переписать прошение на имя господина. Черновик у него был готов еще вчера. Он взял лист бумаги с золотым обрезом по краям и вывел каллиграфическим почерком:

*«Его светлости князю Борису Григорьевичу Шаховскому
конторского служителя Андрея Степанова Плотникова*

Объявление»

Дальше излагалась сама просьба.

*«Всемиловитейший государь и благодетель! Прошу Вас воззреть на
бедственное мое состояние, ибо по причине положенной мне малой платы дошел я
до крайней скудости...»*

Андрей поглядел на заплатанные локти своего камзола и решительно приписал:

«Весь обносился, а купить новую одежду не на что».

Присыпал написанное песком из бронзовой песочницы и еще раз прочитал прошение. А что если осмелиться попросить прибавки, ну, хотя бы двугривенный в месяц или два с полтиной в год? Поколебался с минуту и дописал:

«Прошу Вашу светлость прибавить мне жалованья, сколько Вашей княжеской милости будет угодно».

А вдруг его милость по доброте сердца велит положить не два с полтиной в год, а все пять рублей?

Андрей поглядел в окно, засиженное мухами. Сразу за протокой начинались соляные промыслы, торчали бревенчатые вышки. Оттуда доносился привычный хрип насосов, качавших из земли рассол.

На другой день Андрей встал рано. Наскоро позавтракав, взял с полки книгу. Оказалась повесть о Бове Королевиче. Загадав, что его ожидает, открыл наудачу и не без волнения прочел такие строки:

«Бовá вышел из темницы и побежал из града через городовую стену. И скочил Бовá з городовые стены, и отшиб Бовá себе ноги и лежал за градом три дня и три ночи. И воста Бовá и пошел, куды очи несут».

— Тьфу, какая мерзость! — проговорил Андрей и раскрыл на другом месте. На сей раз выпало нечто более подходящее к случаю.

«И король Маркобрун почал говорить королю Зензевею Айдаровичу: «Слыхал аз у старых людей: которой государь доброго холопа купит, а тот холоп государю своему выслужитца, и того холопа наделяют да отпускают».

— Вот это дивно!

И он весело зашагал в контору. Рабочий день уже начался. С плотбища доносился стук топоров и дружный рабочий запев: «Ой, раз, берем раз...» Скрипели штанги, перекачивая рассол, возы, груженные солью, медленно ползли к пристани. Базарная площадь оживала. Торговцы открывали лавки. Вахрушка, базарный сторож, отставной солдат и инвалид, уныло брел по площади Лицо у него опухло. За ним, опустив рогатую голову, постукивал копытами козел, весь в репьях и грязи.

— Дай, ваше благородие, на опохмелку, — просипел Вахрушка.

Андрей рассмеялся и дал солдату грош. Вахрушка был горький пьяница и даже козла приучил к водке, потому Ваську и его хозяина чаще всего можно было видеть возле кабака.

Посреди площади белела церковь. Андрей на всякий случай зашел и подал нищей милостыню.

Не без любопытства посмотрел он на изображение страшного суда, написанное чуть не во всю стену. Среди грешников, мучившихся в геенне огненной, изображены были знакомые лица: приказчик соляных промыслов Федор Калашников и караванный Фома Кондюрин. Сосланный из Питера живописец написал и того и другого очень похоже. Начальство услало живописца еще дальше, в Чердынь, но страшный суд так и не перемалевали.

Андрей торопливо вошел в контору. Там с минуты на минуту ждали князя. Протоколист Ванюшка Некрасов, сбегав, докладывал:

— Князь одеваются.

— Князь кофий пьют.

— Князь беседуют с управляющим.

И, наконец:

— Князь едут.

Тут все в холопском усердии кинулись на улицу, чтобы встретить барина. Только Андрей заблаговременно занял место у самой двери кабинета правителя дел, где, по его расчетам, и должен был состояться прием.

Князь поднялся по лестнице и вошел в помещение канцелярии, сопровождаемый

управляющим и правителем дел. Он был великолепен: белый парик с пышными волнами кудрей, камзол, расшитый золотом, со звездами, с муаровой лентой через плечо. Такого Андрей не видал еще ни разу в жизни, хотелось зажмурить глаза. Но что его поразило и даже тронуло — это то, что у полубога было обыкновенное человеческое лицо, толстое, красное, потное, даже бородавка на левой щеке возле уха, как у самых простых смертных.

Его светлость милостиво улыбался, но, глотнув кислого запаха канцелярии, немедленно вынул смоченный духами платок и поднес к носу.

Канцелярская челядь подобострастно проводила его до дверей кабинета. Как только за высокой особой захлопнулась дверь, Андрей сказал себе: «Будь что будет» и, — сжимая в руке свое «объявление», шагнул в кабинет. Князь сидел в кресле, обмахиваясь платком, по ту и по другую сторону в почтительных позах застыли управляющий и правитель дел.

При виде Андрея на их лицах выразилось крайнее изумление. Князь перестал обмахиваться и, полуоткрыв рот, смотрел на бедно одетого молодого человека. А тот смело подошел к креслу и протянул лист бумаги. На лице князя появилось выражение безразличия.

— Что сие значит?

— Ваша светлость! В скудости безмерной обретаюсь... Вот моя слезная просьба к вам...

Князь двумя пальцами взял прошение и, обратившись к управляющему, сказал:

— Но это же дерзость!

— Пошел вон, болван! — прошипел тот, устремив на Андрея взгляд, полный ярости.

Андрей вышел, чувствуя, что погубил себя.

А в кабинете в это время решалась его судьба.

— Кто такой? — спросил князь.

— Конторский служитель Андрей Плотников.

— Какого поведения?

— Благонравен...

— Как же благонравен? А сие что означает?

Князь потряс злополучным «объявлением».

— Ваша светлость, простите, не могли и помыслить... Накажем палками, так что с места не встанет...

Но князь был человек гуманный и просвещенный.

— Ну зачем же палками? Поставьте на черную работу.

Правитель дел тотчас же вышел из кабинета и объявил решение его светлости.

— Служителю Андрею Плотникову надлежит с завтрашнего дня выходить на раскомандировку... Будешь черноделом, — обратился он уже непосредственно к Андрею.

Работники у солеваренной печи немало были удивлены, когда увидели конторского служителя, поставленного вместе с ними таскать дрова и шуровать в печи. Они посмеялись, когда он, неумело взяв лом, выбросил из печи большое пылающее полено и должен был снова забросить его обратно.

— Старайся, старайся, прикажя! Это тебе не бумагу марать.

— У нас не то, что в конторе, — насквозь пропаришься.

— Руки-то у тебя белые, парень, господские.

— Ничего, скоро от наших не отличишь.

Жара стояла нестерпимая. Непривычная работа казалась тяжелой вдвойне. Соль варилась в огромном «чрене» и сушилась тут же рядом на полатах. Работники ходили полуголые, задыхаясь от жары и едкого запаха варившейся соли.

Мрак и духота. Рассол кипит. Серый пар валит из чрена.

— Останавливай огонь! — кричит солевар, или, как его называют, повар.

А сам прислушивается к бульканью рассола.

— Вишь, голос подает. Знать-то, готова!

Соль, мягкую и влажную, длинными граблями сбрасывают на полати.

А уж по трубам течет новый поток.

Опять в пылающий зев печи кладут дрова, опять невыносимая жара наполняет солеварню.

Надсажаясь, Андрей таскал дрова и шуровал в печи. Но самое страшное ждало впереди. В солеварню пожаловал приказчик Федор Калашников. Он сразу же обратил внимание на Андрея.

— Это тебя к нам направили за дерзостное поведение? — спросил он.

— Ничего противного законам божеским и человеческим я не делал.

— Ишь ты, как говорит... по-ученому, — недобро заметил приказчик и, погладив жесткую, как конский волос, черную бороду, распорядился:

— Пойдешь к вороту бить новый колодец.

Рабочие поглядели на Андрея с жалостью, и, когда Калашников ушел, один из них сказал:

— Ну, парень, пропал ты навовсе — эта работа не в пример тяжелее нашей. Там лошадям работать, а не людям. Долго там никто не заживается.

На следующий день Андрей испытал всю тяжесть новой работы. Налегая грудью на рукоятки ворота, целый день ходили рабочие по кругу один за другим. На этой работе требовалась нечеловеческая выносливость. Чтобы просверлить землю на вершок, надо было сутки кружить, налегая на палку до одури, до изнеможения. От этой воловьей работы люди лишались рассудка. Почти все заводские дурачки, бродившие по улицам Усоля, побывали на сверлении соляных колодцев.

Андрей не выдержал. Он бесповоротно решил бежать, бежать во что бы то ни стало, хотя бы на край света. Ему пришел на память отцов брат дядя Игнат, его крестный, живший в Соликамске. Когда-то еще малолетком вместе с отцом Андрей побывал в Соликамске и видел дядю.

Он запомнил и город, показавшийся ему втрое больше Усоля, запомнил и почтовую станцию, где служил дядя, и площадь на месте сторевшего посада, а за ней белые каменные дома и церкви. Сам дядя Игнат был человеком веселого и доброго нрава, он угостил тогда крестника расписным вяземским пряником.

«Авось, он меня приютит? — подумал Андрей, — ведь я ему не чужой».

Было утро, когда Андрей остановился на песчаном угоре возле самого Соликамска. Город расположился в низине. Весь он утопал в зелени. Тут и там к небу тянулись кресты на луковичах церковных куполов. Солнце освещало крыши домов, отсвечивало в стеклах окон, играло в волнах речки Усолки.

Андрей оглянулся по сторонам. Справа стояла бревенчатая часовня, поставленная над братской могилой убиенных в лютой сече, когда в 1582 году на Соль Камскую сделали опустошительный набег сибирские племена под предводительством пелымского князя Кихека. Часовенка стояла одиноко среди песчаного пустыря, а за ней непроницаемой островерхой стеной возвышался глухой лес.

Было свежо, и легкий утренний ветерок покачивал стебли трав. Со смешанным чувством спускался Андрей в город; что-то ждет его здесь, на новом месте? Что, если дядя откажет в приюте, тогда надо опять думать, куда бежать...

С горы во всем своем великолепии открывался вид на бывший Соликамский кремль. Валы давно уже были скрыты, не стало и башен. Каменные строения возвышались на холме. В ближнем доме с высоким каменным крыльцом когда-то жил заводчик Турчанинов. И улицу по его фамилии называли Турчаниновской. Теперь он владелец крупных заводов на Среднем Урале, за Екатеринбургом. За турчаниновскими хоромы стоял каменный особняк солепромышленника Максима Суровцева. Через улицу, недалеко от речки Усолки, высился воеводский дом. Посредине бывшего кремля — старинный, времен Грозного, собор, а позади такой же на берегу Усолки. Меж ними двухэтажное здание магистрата.

Невольно загляделся Андрей на шатровое крыльцо старинного собора. На звоннице равномерно бухал колокол, к собору медленно двигались старики и старухи с клюшками в руках. Служили раннюю обедню, и звон раздавался со всех семи городских церквей.

«Застану ли я крестного?» — тревожно подумал Андрей, открывая калитку рядом с широкими тесовыми воротами почтового двора.

Здесь уже давно начался трудовой день. Ямщики задавали корм коням, чистили экипажи, смазывали тележные оси, чинили сбрую. Слышались голоса людей и ржанье лошадей.

Дом почтовой станции состоял из двух половин — в одной жили ямщики, в другой — смотритель станции.

В ямщицкой за столом сидели трое парней, у печи с ухватом в руке стояла крупная баба в сарафане с запоном, с добродушным толстым лицом.

— Тетка Лукерья! — сказал один. — Дай-ка нам поскорее чего-нибудь поснедать.

Баба поставила большую деревянную чашку с горячими щами.

— Ешьте... А ты чей, паренек?

— Мне бы Игната Плотникова повидать. Я его племянник.

— Эка беда! Нет ведь Игната-то. Уехал. Ты садись, поешь.

«Что же мне делать?» — горестно подумал Андрей.

— А вы хоть бы лбы-то перекрестили, бусурманы, — добродушно ворчала тетка Лукерья на парней, наливая вторую чашку.

— Мы, Луша, тебе честь отдаем за доброе варево, а касательно молитвы — пускай за нас монахи молятся.

— Вот обожди, сведут на воеводский двор, тогда, небось, всех святых вспомнишь.

— Что ты нас воеводой пугаешь? Видал я всякого зверя. С медведем даже встречался, — сказал один из парней.

— Эва, сравнил!

Андрей подсел к парням и спросил, откуда они.

— Из Половодовой, — ответил один.

Второй, бледнолицый чернявый паренек, ответил:

— Я дворовый господина Подосенова.

Андрей не стал расспрашивать дальше, понял, что молодцы тоже не с добра зашли на почтовый двор.

Тетка Лукерья отрезала каждому по ломтю хлеба, подала по кружке браги, поглядела на всех четверых и вздохнула тяжело.

— Куда мне вас спрятать, победные вы головушки? На проезжих-то вы не похожи.

Послышались колокольцы: во двор въезжали один за другим сразу три экипажа. Несколько ямщиков с усталыми, облупившимися от зноя лицами вошли в избу и, сняв кафтаны, сразу же уселись за стол.

— Ну, тетка Лукерья, корми да попуще: дорога была дальняя и заботная. Слава богу, что живыми вернулись.

— Стряслось разве что?

— С атаманшей Матреной повстречались возле Чермоза. Едва угнали.

— Кто такая? Что за Матрена? — спросили парни.

— Не знаете, так расскажу. Она, слышь, откуда-то из-за Чердыни. Приплыла в Усолье и здесь прибилась к соляному делу. Девка большая, здоровая. Бают, парнем переодевалась да на кулашные бои выходила. Ну, приглянулась смотрителю. Он взял ее к себе в услужение. Хотел, видно, попользоваться, да она его неосторожно ушибла, так что он и душу богу отдал. Матрену в острог, понятно. Едва с ней справились — такая у девки сила, что любого мужика с ног сшибет. В остроге она посидела всего-навсего один день, а ночью высадила ворота и всех колодников с собой увела. С той поры и разбойничает. За обиду свою мстит.

— Эко место! Что же это будет, коли бабы принялись за разбой! — заметила тетка Лукерья, — Последние времена наступают.

— Сказывают, она по правде свое дело ведет. Воевод и купцов кидает в Каму рыбам на ужин, а мужиков не трогает. «Кто, говорит, мужика тронет, того и я не помилую». Вот она какова, Матрена-то, атаманша!

Андрею представилась страховидная великанша, кидающая людей в реку, как котят.

Время уже приближалось к полудню, парни куда-то вышли, ямщики после обеда лежали кто на полотах, кто прямо на полу, постелив под голову кафтан. Андрей сидел у окна.

— Куда поехал крестный?

— Почту повез в Верхотурье. Скоро его не жди, — отвечала Лукерья.

— Вот горе-то...

— Добрый он у нас мужик. Только уж больно смел: недавно напали на него человек до пяти, так он одного замертво уложил, а других покалечил. Я уж и то его оговариваю: не лезь на рожон, не ищи смерти до часу. «А я, говорит, не роковой». Вот и посуды с ним.

Андрею было приятно, что хвалили дядю.

— У меня отец тоже смелый был. Он с караваном плавал до Нижнего, да вот уж года три как помер, и мать померла.

— Так ты, стало быть, круглый сирота... Вон оно что. Да, плохо твое дело. Ну, не робей — дядя поможет и документ пособит выправить.

Вдруг дверь растворилась, и на пороге показался смотритель в сопровождении полицейского чина.

Ямщики вскочили с полу.

Увидев тараканьи усы городского и его мутные навывкате глаза, Андрей понял, что нужно спастись. Он ринулся к двери, но один из ямщиков загородил ему дорогу, другой схватил сзади за ворот. Полицейский чин спросил:

— Кто таков? По какому случаю здесь?

Андрей смекнул, что не следует называть свою настоящую фамилию.

— Крестьянин Иван Некрасов. Пришел из деревни навестить дядю.

— Какого еще такого дядю?

— Игната Плотникова.

— Кто тебе позволил шляться? На съезжую!

Тетка Лукерья всплеснула руками.

— Это такого-то молоденького? Смилуйтесь, ведь он сирота.

— Молчи, баба! — крикнул смотритель.

Андрею связали руки. Полицейский пошел вперед, Андрей за ним. Спустившись во двор, полицейский заявил:

— Придется произвести обыск, Фадей Фадеич!

Смотритель пожал плечами.

— Ваша воля.

Полицейский полез на сеновал и через несколько минут вытащил оттуда парня, сказавшегося дворовым.

— Вот он, голубчик.

Парень заплакал.

— Не хнычь. Рано хныкать. Влепят полсотни лозанов, тогда и вой.

Парню тоже связали руки назади. Обоих арестованных повели на съезжую. Это была большая из толстых бревен изба, с маленькими зарешеченными оконцами, стоявшая на берегу Усолки. Сбоку от съезжей возвышался огороженный частоколом острог, а прямо через дорогу — церковь.

Полицейский впахнул пленников в полутемную избу, где уже сидело несколько заключенных. Когда с лязгом закрылся тяжелый железный засов, Андрей тоскливо оглядел свое новое жилище и его обитателей. Изба была с низким закопченным потолком и стенами. Ни нар, ни скамеек. Заключенных оказалось трое: один, пожилой, худощавый, с чахлой седоватой бороденкой, стоял возле окна и жадно глядел на ту сторону реки, где густо зеленел сосновый бор. Два его товарища лежали на полу, положив под головы кулаки. Никто не

обратил внимания на новеньких.

Андрей попытался освободить от бечевки руки, но это ему не удалось.

— Помоги-ка, — попросил он дворового. — А потом я тебе развяжу.

— Что же дальше с нами будет? — спросил парень и захныкал: — Мне от господина Подосенова милости ждать нечего... Забьет он меня до смерти.

— Не реви ты, и без того тошно, — сказал Андрей.

Старик быстро повернулся. На его худом костистом лице молодо блеснули голубые, с сумасшедшинкой, глаза.

— Умел воровать, умей и ответ держать, — заговорил он насмешливо. — Сведут завтра на воеводский двор, там всем нам будет суд и расправа: кому тюрьма, кому плети, а кому и то и другое.

Андрей рассердился.

— Что ты каркаешь? Научил бы лучше, что делать.

Тот добродушно рассмеялся.

— Молодой, а уж крыльями машешь. Люблю таких. Не тужи, парень, не робей. Как поведут на воеводский двор, становись ближе к заплоту. Ежели мастер прыгать, перемахнешь на другую сторону и в лес беги, что есть мочи. Понятно, ежели удачливый ты... Я в твои-то годы, ух, как удачлив был. На коне не догонишь. Семь раз из тюрьмы бегал, да и теперь думаю о том же.

— Как же тебя, старого, будут наказывать? Разве такое дозволено?

— Эх ты, птенец! Все на этом свете дозволено, у кого деньга в мошне да плетъ в руке... А что старик я, так это ты прошибку дал. Мне всего сорок годов. Состарили меня работа рудничная да тюрьма царская, но все же покуда меня дедушкой величать рано.

Отворилась дверь, и вошел полицейский капрал с человеком в красной рубахе. У него было рябое лицо, мутные глаза и длинные руки.

— Авдюшка! — с ужасом прошептал «старик».

— Вставай, — сказал капрал, пнув одного из лежавших, — к воеводе пойдешь.

С полу поднялся мрачного вида детина с взъерошенными волосами, весь покрытый грязью. На руках и на ногах у него висели тяжелые оковы. Андрея поразило выражение обреченности во всем его существе, когда тот выходил за своими мучителями.

— На пытку повели. В пытошную избу.

Все замолчали.

— Которого повели, так он из Матрениной шайки. Ему карачун будет. У воеводы в доме подвал есть для пытошных дел. Он такой, что ему в лапы не попадайся.

— Попадется же и он когда-то, — пробормотал лежавший на полу арестант.

И снова все замолчали. Дворовый стучал зубами от страха.

Время уже подходило к вечеру, когда в пыточную увели второго закованного в кандалы.

— Прощайте, братцы! — крикнул он в дверях.

Ночь прошла тревожно. Андрей долго не мог уснуть, но усталость взяла свое.

Когда рассвело, заключенных повели на воеводский двор. Андрей шел между старым бродягой и дворовым.

— Согласен бежать? — вполголоса спросил он дворового.

Тот со страхом оглянулся.

— Что ты? Как можно?

— Ну и пропадай.

«Старик» похвалил Андрея.

— А ты молодец, парень. Смелым бог владеет. А жизнь наша такая, что ежели ты за глотку не схватишь, так тебе глотку перегрызут. Прыгай — не робей! Я тоже мастер был прыгать, за то меня Блохой и прозвали.

— Ты только покажи мне, где надо прыгать.

— Покажу и помогу.

Солнце величаво поднималось над землей. Весело сверкала утренней рябью Усолка, жарко горели кресты на церквах. В окнах воеводского дома переливались разным цветом стекла. Город еще спал.

Андрея охватила какая-то веселая отчаянность. Он сейчас ничего не страшился. Все его мысли сосредоточились на одном: бежать. Он уже наметил себе путь. Пробежит вдоль берега и прямо на мост через Усолку, мимо кузниц и — в лес. Пожалуй, лучше бежать на Боровую, там сесть в лодку и плыть вниз по Каме.

— Заходи! — крикнул унтер-офицер, предводительствовавший конвоем, и арестованные всей толпой хлынул» на двор.

Блоха и Андрей сумели в числе первых пробиться к заплоту, который стоял вдоль берега. Он оказался довольно высок.

— А ну! — сказал Блоха и толкнул Андрея в бок. — Становись мне на спину.

Он нагнулся. Андрей на миг заколебался.

— Прыгай, говорят тебе!..

Андрей вскочил ему на спину и, чувствуя напряжение всех мускулов, ухватился за верхнюю тесину. Перед ним блеснула река. Он приподнялся на руках и перекинулся по ту сторону заплота.

ГЛАВА ВТОРАЯ

*Ты, пустынюшка, моя матушка,
Помилей отца-матери!
Вы, леса, вы, кудрявые,
Помилей мне роду-племени!*
Песня

Вторые сутки шел Андрей Плотников берегом Камы.

Вот он и на воле! Эта мысль, точно солнечным светом, наполняла все его существо, и сладостное ощущение свободы было настолько глубоким, что заглушало даже ту смутную тревогу, которая возникала при воспоминании об усольской конторе соляных промыслов и воеводском дворе, откуда он два дня назад благополучно бежал.

Проходя мимо Усоля, он с противоположного берега увидел высокое с узкими окнами здание конторы и погрозил в ту сторону кулаком. Проклятая чернильная каторга! То, что с ним произошло в течение последней недели, представлялось глубоко несправедливым и бессмысленным. Давно ли Андрей Плотников с пером за ухом сидел вместе с другими конторскими служащими за столом, облитым чернилами, и без конца «перебелял» рапорты и реестры, боясь описать хотя бы в одном слове. Он привык к своему столу, к товарищам, и вот пришлось стать беглым. А может быть, лучше было примириться со всем, что выпало на его горькую долю: с тем, что его за подачу жалобы приставили к вороту и заставили ходить по кругу, как слепую лошадь.

О нет, он согласен идти день и ночь, лишь бы только не возвращаться в Усолье. И надо уходить как можно скорее, как можно дальше от рокового места. Наверно, его уже разыскивают, а если поймают — ну, тогда прощайся с жизнью, Андрей свет Степанович!

Дни стояли солнечные, тихие и прозрачные, последние дни июля. Перед Андреем впервые за всю его жизнь так широко раскрывалась во всем своем величии первозданная красота реки, лесов и лугов. Впервые встречал он утреннюю зарю на камском берегу, лежа на росистой траве, и разбудил его не стук в окно конторского рассылки, а птичий щебет, крик уток, звонкое гоготанье гусей, резкие крики чаек. Умывшись, он тронулся дальше в путь. Берег то круто поднимался над водой, то опускался понизью, поросшей травой и кустарником, или песчаной косой уходил далеко в реку. Вон впереди высоко над водой поднялась крутая косматая вершина. Тесно встали на ней темно-зеленые пихты. Зайдешь в лес и не надышишься. Выйдешь на опушку — перед тобой густо поднимутся стрелки

иван-чая, все в пушистых завитках. В одном месте наткнулся Андрей на медвежий след. Неподалеку оказался малинник. Боясь заблудиться, беглец все время держался близко к берегу.

День уже подходил к концу. Солнце скрылось за темной гривой дремучего леса. Андрей вышел на берег в том месте, где он, точно срезанный, спускался в воду обрывом, и снова залюбовался открывшейся перед ним картиной. Кама вся точно горела в закатных лучах; из-за острова, сплошь поросшего ольхой и тальником, показались два лебедя. Большие гордые птицы медленно плыли по светящейся воде, точно вылитые из серебра. Белокрылые чайки с криком летали над рекой. То тут, то там всплескивала рыба.

Вот бы жить в таком благодатном месте, сам-друг с матерью-дубравой, ловить рыбу в тихих заводях, стрелять дичь, собирать лесные ягоды, грибы. Воображение уже рисовало ему, как он, молодой, но искусный охотник, будет славен по всему Прикамью. Он убьет самого матерого медведя в парме за Чуртаном, и тогда все усольские девушки заговорят о нем.

— Ты какого лешака тут шары пялишь? — вдруг раздался за спиной грубый окрик, и чья-то тяжелая рука легла на плечо.

Андрей оглянулся: перед ним стоял ражий детина, губастый, глазастый и, главное, вооруженный — за кушаком у него торчал топор, а из-за голенища выглядывала рукоять кинжала. Это было настолько неожиданно, что Андрей не сразу пришел в себя, а, опомнившись, понял, что пропал. Бежать, но куда? Решение возникло мгновенно. Прыжок — и он в воде. Нырнув чуть не до дна, Андрей поднялся на поверхность и, изо всей силы работая руками и ногами, поплыл к острову. Сзади, с берега, послышался звонкий свист. Такой же свист раздался и со стороны острова.

Плыть было трудно: мешала одежда. Но сознание опасности прибавляло сил. Саженьях в двадцати от себя Андрей видел песчаную отмель и плыл прямо на нее. Течением сносило, и чем дальше, тем яснее он чувствовал, что не доплывет. Сильная струя воды преграждала путь. Андрею сделалось страшно. Мускулы напряглись в последних отчаянных усилиях.

И тут до слуха его долетели всплески воды под ударами весел. Со стороны острова легко и быстро вынеслась остроносая лодка. На ней сидели двое. Не прошло и минуты, как лодка очутилась рядом с Андреем. Сидевший на корме усатый молодец в шапке, лихо сдвинутой на затылок, крикнул:

— Давай руку!

С помощью усатого Андрей забрался в лодку, едва ее не перевернув, за что тот сердито выругал его.

— Кто таков?

— По правде говоря, и сам не знаю... Если вы добрые люди, так сжальтесь...

— Ты не виляй хвостом, — недовольно заметил усач, — Выкладывай как на духу. Лучше будет.

— Беглый я, вот кто, — решил признаться Андрей. Сидевшие в лодке показались ему не похожими на полицейских служителей.

— Сразу так бы и говорил. Чего ж ты с берега-то сиганул?

— Да там один схватить меня собирался.

— Ха-ха-ха! — засмеялся сидевший на веслах вихрастый парень. — Это Илюха его пужанул.

Они причалили к берегу, и Андрей заметил, что под нависшими над водой ветвями смородины пряталось еще несколько лодок. Гребцы вышли на берег, и тут только Андрей увидел, что у одного из кармана выглядывала рукоятка пистолета, а у другого к поясу подвешен был на ремennom жгуте чугунный шар величиной с кулак. Шевельнулась мысль: «Разбойники!»

Они шли по узкой тропинке меж кустов жимолости и ольховника. Откуда-то доносились пенье, взрывы смеха, тянуло горьковатым дымком, и вскоре перед Андреем раскрылась широкая луговина. Картина была живописная. Посредине пылал костер, над ним

висел большой чугунный котел, вокруг сидели и лежали молодцы, одетые довольно пестро.

Все с любопытством посмотрели на Андрея. Чернявый, крепко сложенный молодец остановил на нем неподвижный суровый взгляд.

— Кого бог дал, Таракан?

Усатый ответил:

— Утопленника, есаул.

Разбойники засмеялись. Чернявый проронил сквозь зубы:

— На кой ляд ты его спасал? Оставил бы ракам на ужин.

— Беглый, говорит.

— Ну тогда надо поглядеть. Веди к Матрене. Пускай решит, куда его девать: в реке утопить али на осину вздернуть.

Андрей невольно содрогнулся. Значит, он попал в шайку знаменитой атаманши.

На другом краю поляны стояло до десятка балаганов, похожих на те, какие ставят на покосах. Усатый и его товарищ подвели Андрея к балагану, который был выше других.

— Матрена Никитична! Выдь-ка на минуточку.

— Что случилось? — откликнулся из балагана низкий грудной голос.

— Да дело есть, матушка.

— Обожди.

Ждать пришлось недолго. Дверь балагана распахнулась, и Андрей замер от удивления: перед ним стояла красавица лет двадцати пяти. Что-то колдовское, неотразимое было в ее лице: и горячий взгляд из-под тонких черных бровей, и алые полные губы, и буйная каштановая волна, выбившаяся из-под платка, и смуглые щеки. Все в ней дышало здоровьем и силой. На атаманше был мужской костюм, но и это шло к ней: бархатное полукафтанье, сабля у бедра, сафьяновые сапожки — все было, ей подстать.

— Вот этот, Матрена Никитична, даве тонул, рассказывает, будто беглый, — докладывал усач, указывая на Андрея.

Атаманша внимательно посмотрела юноше в лицо, и тот почувствовал, как ее взгляд проникает ему прямо в душу: такой не соврешь.

— А где ребята?

— Ужин ладят на поляне.

— Ну, пойдем туда.

Они пошли к костру. Завидя атаманшу, разбойники с почтением встали. Кто-то подставил ей чурбан, чтобы сесть. Видно было, что любили ее и подчинялись из любви.

— Садись, Матрена Никитична, скоро ужин поспеет.

Матрена села и обратилась к Андрею:

— Ну, рассказывай, парнишка, кто таков, зачем в наши края пожаловал?

Словно замороженный ее взглядом, Андрей смутился и не знал, с чего начать.

— Ты что же, язык проглотил? Али на меня загляделся? Берегись — здесь женихов вон сколько, неровен час, наломают бока.

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! — покатались со смеху разбойники.

Андрей вспыхнул от обиды.

— Я человек несчастный, и надо мной смеяться нечего, — начал он и стал рассказывать историю своей жизни.

Разбойники слушали внимательно, особенно, когда стал он рассказывать о двух арестованных, уведенных на пытку.

— Да ведь это Рябок и Егорка Свал! Эх, жалко ребят...

— Теперь воевода над ними потешится.

— Говоришь, в пытошную их увели?

Матрена свела соболиные брови, сверкнула глазами, и лицо ее сделалось суровым.

— Тихо, ребята! Без шуму. В долгу перед воеводой не останемся. За наших отплатим с лихвой... Говори дале.

Андрей подробно рассказал о своем побеге, так счастливо удавшемся при содействии

Блохи. Матрена широко и весело улыбнулась, и вдруг лицо ее стало таким простым и милым, что никто бы и не подумал о страшной разбойнице, глядя на нее в эту минуту.

— Блоху я знаю. Земляком доводится. Он не пропадет. Старый волк, не из таких капканов вырывался. Однако и ты молодец. Коли не врешь, — добавила она, лукаво прищутив свои бесовские глаза. — Ну, что ж, раз уж прибило тебя к нашему берегу, ночуй с нами, поешь, проголодался, поди, а завтра видно будет... Накорми его, Мясников, — приказала она есаулу и ушла.

Между тем варево в котле шипело и булькало, распространяя такой аппетитный запах, что у Андрея слюнки потекли. Ему давно хотелось есть. Видимо, и остальные проголодались изрядно.

Обжигаясь, ел Андрей мясную похлебку, и казалось ему, что ничего вкуснее не едал во всю свою жизнь.

В глубоком ночном небе поблескивали редкие звезды. С луговой поемной стороны доносился стрекот бессонных кузнечиков. Ни один лист на деревьях не шевелился. Дремотно поплескивала о берег Кама.

Разбойники занялись всяк своим: кто ушел спать в шалаш, кто сел точить саблю, кто чистил ружье или пистолет. Несколько голосов затянули старинную песню о волюшке вольной. Негромко, но сильно лилась она, хорошо спевшиеся голоса мягко и дружно подхватывали напев и несли его над луговой тишиной.

Ты, дуброва ли, дубровушка зеленая!
По тебе, моя дубровушка,
По тебе мы множко гуливали.
Мы гуляли — не нагуливались,
Мы сидели — не насиживались.

Андрей лежал на ветках лозняка и слушал: и слова песни, и мелодия, здесь среди людей, поставленных вне закона, на диком острове в эту серебряную июльскую ночь, — все это было так необычно, так ново для него. А красавица-атаманша казалась видением из какой-то чудесной сказки.

Рядом с ним сидел Таракан.

— О Матрене-то я не раз слышал, — сказал Андрей, чтобы начать разговор.

— Как же, о ней есть что говорить, немало на тот свет отправила бояр, купцов да вашего брата приказных.

— Я не приказный.

— Ну, вроде того. Матрена — царь-девка. Уж коли даст слово, так сдержит.

— Добрая она?

— Чего мелешь? На что ей доброта? Она за обиду своей рукой посекала человек десять, и есаул у нас тоже удалец.

Андрей никак не мог представить, чтобы такая, как Матрена, могла кого-то убивать. Сонная истома начала одолевать его, наливая все тело неодолимой слабостью. Но и засыпая, он видел смуглое лицо с черными бровями и блестящими глазами.

Проснулся Андрей от пронзительного свиста. Таракана уже возле него не было. Солнце ликующим светом заливало поляну, влажную от росы. Разбойники торопливо снаряжались, увязывали котомки, вооружались. Все действовали слаженно, привычные выполнять одно, общее дело. Таракан появился, когда Андрей уже успел стряхнуть с себя сонную одурь.

— Ступай, тебя атаманша требует.

Андрей направился к высокому шалашу Матрены, думая со сладким замиранием сердца, что снова увидит эту необыкновенную женщину. Он почти не сомневался, что теперь его будущее прочно связано с этой жизнью, полной опасностей и приключений, и заранее радовался.

«Вот оно когда начинается, настоящее-то».

Матрены в шалаше не оказалось. Андрей увидел ее на поляне и не узнал: это была не вчерашняя красавица, а суровый воин — что-то жесткое и властное выражали сейчас черты ее лица. Вместо платка на ней красовалась легкая соболья шапочка, за кушаком торчал тяжелый двухствольный пистолет. Громким голосом она отдавала приказания.

Андрей подошел к ней.

— Мне сказано, чтобы я...

— Вот что, малый, мы в поход трогаемся. Тебе с нами не по пути. Дам тебе лодку, припасу и валяй, куда хочешь по матушке Каме.

— Матрена Никитична! — взмолился Андрей. — Возьмите меня в свою команду. Ужели я не погожусь? Я думал...

Атаманша поглядела на него, и в этом взгляде неожиданно мелькнула материнская теплота.

— Молод ты и ни к чему тебе это — от нашей работы душа горит: по колен в крови ходим. Поезжай до устья Косьвы. Там на горе избушка, в ней дед Мирон живет. Скажи ему: Матрена мол поклон шлет. Он тебе поможет. А лодку тебе Таракан даст.

Андрей понурил голову.

— Айда! — сказал усатый.

Когда они дошли до берега, Таракан показал ему на легкую двухвесельную лодку:

— Плыви, парень, с богом!

Андрей пожал своему доброжелателю руку.

— Спасибо! — с чувством сказал он.

— Не на чем, — ответил тот. — В сорочке ты родился. Матрена не всякого так отпускает. Верно, поглянулся ты ей, — ревниво добавил он.

Андрей взял в руки весла и, сильно погрузив их в воду, выехал на стрежень.

В корме заметил он котомку, туго набитую припасом, оттуда тянуло запахом ржаного хлеба. С благодарностью подумал Андрей об атаманше.

Утро разгоралось румяное, ясное. Над головой, отражаясь в зеркальной глади реки, плыли легкие, позолоченные утренними лучами, облака. Легко и вольно дышалось, и было светло на душе, хотя и думалось, что не все так вышло, как хотелось.

Андрей с удовольствием, не чуя усталости, греб, а мимо бежали берега, и стаи испуганных птиц подымались над заводьями; сохатый, приподняв над водой коровью морду с бородой, с широкими лопастями рогов, следил за удалявшейся лодкой; черный выводок гагар, отплывший от берега, повернул обратно в кусты лозняка.

Лодка плыла и плыла, а гребец с золотыми кудрями сбросил камзол, распахнул ворот рубахи навстречу солнцу, все в нем трепетало от прилива жизненной силы, хотелось без конца плыть по этой зеркальной дороге к неизведанному счастью.

Поздно ночью добрался Андрей до устья Косьвы. Между потемневших берегов текла, мерцая, пустынная река. Ее воды чернели в глубокой тени еловых лесов. Все было таинственно и угрюмо в этом диком месте, куда словно не ступала еще нога человека. Ели на горах издали казались сказочными великанами в острых шлемах. Тонкий лунный серп светился на небе и дрожал в воде.

«Что делать? — подумал Андрей, — Дедушку Мирона мне в этом раменье не сыскать. Придется ждать до утра».

Он причалил к берегу. На пологом скате под ногами хрустели песок да галька, видно, здесь гуляли вешние воды. Лес начинался выше. Вытащив лодку на берег, Андрей решил под ней же и заночевать. Он пошел в лес наломать веток, чтобы устроить постель помягче, но едва принялся за работу, как услышал шорох: кто-то пробирался по лесу. Андрей невольно отошел на открытое место. Кусты раздвинулись, и показался старик, приземистый, широкоплечий, с бородой чуть не до пояса.

— Не пужайся, детинушка, я не леший, а такой же, как ты, раб божий.

— Ты... ты не дедушка ли Мирон?

— Он самый и есть. Ты откуда меня знаешь?

— Матрена Никитична велела тебе кланяться.

— Матреша! Да где ты ее видел? Вот оказия! Ах ты, милой сын, любезный гость. Ну пойдём скорее ко мне в избушку... Я тебя издали за приметил. Кто, думаю, это припозднился? Не из Чермоза ли рыбак? Заезжает ко мне тут один, Савваткой кличут.

Пошли к землянке, вырытой в бугре. Она напоминала пещеру, впрочем, с оконцем, а наверху — труба. В землянке пахло травами и мёдом.

Сразу, как будто очутившись в родном доме после долгой разлуки, Андрей всем существом ощутил тепло и уют.

Дедушка Мирон поставил перед ним туюсок с мёдом, отрезал ломоть душистого ржаного хлеба. Андрей ел с аппетитом. Поев, он рассказал деду о своих приключениях и, наконец, о неожиданной встрече с атаманшей.

Дедушка Мирон слушал молча, опустив голову.

— Да, дело твоё мудрёное, — сказал он, дослушав до конца, — Ну, авось, что-нибудь и придумаем. А Матреша, говоришь, тебя не приняла в свою команду? И то добро: рано тебе за такое дело браться. Человека убить, милой сын, не муху раздавить, право на то надо иметь. Я их, разбойников-то, повидал на своём веку. Один в душегубстве да в грабеже только сласть и видит, это самый распоследний человек, такому ни на том, ни на этом свете прощенья нет. А другой, к примеру, Матреша, либо поневоле в разбой пошел, либо обиду свою вымещает. Матреша, она простого человека не тронет. Только и живет для себя, по пословице: хоть день, да мой. Народ-то ей все простит. А вот слышал я про одного разбойника. На Чусовой-реке атаманил. Был он демидовский мастеровой и на огненной работе руки лишился. Довели его заводские власти до того, что убежал он с завода и стал разбойником. Прозвали его Безручком... Так вот, милой сын, этот самый Безручок за работных людей горой стоял. Пожалуются ему на какого злодея-приказчика, он его сей же час за ворот да и в воду. Самих Демидовых в страхе держал. Взяли его большой воинской силой и присудили к лютой казни. Вот такому разбойнику не только народ спасибо говорит, а и все его грехи большие и малые отпустятся, потому как не для себя жил, а для других, за других и конец мученический принял. Умер он, а память о нем живет и песни про него поют и сказки рассказывают. Так-то, милой сын... Ну, давай спать ложиться. Утречком я тебе всю свою вотчину покажу.

Сладко уснул Андрей на медвежьей шкуре и даже снов не видел. Проснулся он от ласки горячих солнечных лучей. Дверь была полуоткрыта. Перед ней сидел дедушка Мирон и, что-то напевая под нос, вязал сеть.

— А я ушку сварил, — сказал старик.

Приглядевшись к нему, Андрей заметил, что у деда какие-то особенные, почти прозрачные серые глаза, с глубоким и спокойным взглядом. «Настоящий колдун, — подумал Андрей. — Что же его связывает с Матрешей? Может, он ей родня?»

Умывшись в реке, он поспешил к догоравшему костру, над которым в небольшом котле, поставленном на таганец, дымилась дедова уха.

Со всех сторон раздавались звонкий щебет, свист, шелканье. Роса блестела на кустах, пахло шиповником. Жужжали пчелы. Андрей отмахивался от них ложкой.

— А ты, милой сын, не машись. Пчела — вековечная труженица, она по своему делу летит. Не мешай ей, не дразни.

В это время одна из «тружениц», запутавшись в густых золотистых кудрях Андрея, больно ужалила его в голову.

— Чужой ты, не привыкли еще, — пояснил дедушка Мирон. — Я пчелок люблю. У меня тут в лесу три колоды стоят. По весне думаю четвертую поставить. Ныне пчелка хорошо роилась.

Они шли по лесу, пробираясь сквозь заросли осинника. Иногда молодая березка задевала лицо зеленым рукавом, обдавая сладким запахом. Черемуха свешивала кисти черных ягод, и оранжевые гроздья рябин, наливаясь соком, нежились под лучами утреннего июльского солнца.

Старик медленно шел, стараясь не ломать ветвей, слушая ласковый говор трепетных осин и задумчивый шорох стройных сосен.

— Вот где мир и благодатная тишина, — говорил он, — Ты не гляди, что это лес. В лесу-то, милой сын, все живет, всякое дерево к солнышку тянется. У всякого своя жизнь и у всякого своя молвь: у молодого — веселая, у старого — печальная. И погоду они чувят. Весной такой то ли говорок идет по лесу, будто детки малые расшалились, а осенью заскучает лес, шуршат листочки, жалуются, словно знают, что скоро помирать. А перед тем, как снегу лечь, тихо станет, думает лес последнюю думу, ко сну зимнему готовится.

Андрей слушал старика в пол-уха, потирая вскочившую на голове шишку.

Лето подходило к концу. Ночи стали длинней, и звездная россыпь горела все ярче и ярче. Первые желтые листочки поплыли по воде.

Андрей помогал дедушке Мирону рыбачить. Старик был в этом деле мастер и запасал рыбу впрок. К зиме решил он поставить амбарушку, и Андрей обрадовался этой новой работе. Он старался хоть чем-нибудь занять себя с утра до ночи.

Дедушка Мирон поглядывал на него, пряча в своей шелковой седой бороде лукавую улыбку.

— Что, милой сын, боишься, как бы не наскучило в зеленом нашем царстве?

— Боюсь, дедушка, — откровенно признался Андрей.

Часто выходил он на берег полюбоваться на суровую красоту Камы и Косьвы. Редко-редко проходил с севера соляной караван. Одна за другой двигались тяжелые груженные коломенки. Десятки людей налегали на потеси — исполинские весла, и Андрею думалось, что среди них, наверно, много его земляков.

И вот однажды под вечер, когда они с дедушкой Мироном возвращались с богатым уловом, показалась большая на десять весел лодка, за ней другая, третья. Андрей так и замер.

— Дедушка Мирон, гляди-ка!

— Матреша!

Лодки под дружные взмахи весел быстро плыли вниз по течению прямо на середине Камы. На носу передней лодки стояла атаманша. Ее сразу можно было узнать по гордой осанке. Синее полукафтанье плотно облегалo ее стройный стан.

Приложив ладони ко рту, дед крикнул:

— Матреша!

Матрена, оглянувшись в их сторону, и Андрей издали заметил, как блеснули в улыбке ее зубы. Она помахала белым платком и крикнула в ответ:

— Пожелайте удачи!

— Поезжай с богом, милушка!

Андрей не двинулся с места, пока весь разбойничий караван не скрылся из глаз.

— Уехала моя голубушка, — со вздохом произнес дедушка Мирон. — Не сносить ей удалой головы.

— Про нее говорят: богатырша, любого мужика поборет.

— Где же любого? Таких, как я, уберет, пожалуй, с десятков, а вот Безручко, не смотри, что однорукий был, и не с десятком справлялся...

Тут дедушка Мирон нахмурился и замолчал.

Андрею очень хотелось узнать о его прошлом, но сколько ни заводил он об этом разговор, старик отмалчивался или отшучивался.

— Я ведь не дворянского сословия: жил, как придется. Родова моя насквозь мужицкая.

А в светлых глазах мелькала лукавинка.

Но сегодня дедушка Мирон был растроган встречей с Матреной и сам начал разговор.

— Матреша-то ведь моя крестница.

— Как так крестница?

— Да так, видно, суждено было. Убежала она из острога и прибилась к моему бережку. Ну, я вижу, злобы в ней много и силы столько, что конем ее стопчешь. Прожила зиму,

оклемалась, а весной ее, как птаху перелетную, на волю потянуло, захотелось крылышки расправить. «Куда, дедушка, благословишь метя?» — «Ты, говорю, была на работе и ступай на работу». Она на меня как выбурит, в глазах огни. «На соль, что ли, обратно, так у меня и без того вся жизнь подсоленная». — «Ну, говорю, гляди, сама себе хозяйка». А ко мне молодцы похаживали, вольные люди. Вижу, моя Матреша в согласие с ними вошла. Однажды и говорит: «Спасибо тебе, дед, за приют, за ласку. Отогрел ты мою душу. А теперь благослови меня на разбой идти». — «Что ты, говорю, милушка, опомнись, не придуривай. Ты ведь баба. Женское ли дело — разбой?» Она ни в какую. Ну, ежели человек сам себе веревку на шею вьет, разве отговоришь. У всякого своя дорожка на земле. И благословил я ее, милой сын, благословил. С той поры она мне и крестница. Не забывает, завертывает когда с молодцами...

— Как же это Матрене удалось такую шайку собрать?

— Не наше дело, — сухо ответил старик, и сразу повернул на другое. — Что-то у меня в крыльцах ломота, не иначе к дождю. Давай-ка похлебаем ушки да и на боковую. Завтра надо первые соты подрезать.

Дедушка Мирон не ошибся: ветер задул с «гнилого» угла, небо заволокло тучами, и начались дожди. Они затянулись на целую неделю. Андрей не находил себе места.

— Хоть бы лапти ковырять ты меня научил, — просил он деда.

Тот посмеивался.

— Что ж, милой сын, и то рукомесло. Человеку все надо знать и все уметь. Тогда и жить легче.

Проснувшись однажды, Андрей вышел из землянки. Над мокрой землей всходило холодное солнце. В небе таяли редкие облачка. Молочный туман окутывал реку, полз по берегу, цеплялся за кусты. Листья, падая, кружились в воздухе. Рябина, росшая возле землянки, печально свешивала красные гроздья. Было тихо и сыро. Шла осень во всей своей силе.

В тот день к дедушке Мирону приплыл в душегубке его старый приятель Савватка. Причалив, вытащил из лодки мешок и зашагал, тяжело припадая на левую ногу, к костру, который теперь обитатели землянки разводили все чаще и чаще.

— Савватка! Друг милой! — обрадовался дедушка Мирон. — Садись, грейся.

— Мир на стану! Здравы будьте! — заговорил Савватка частым говорком, — Ты что, Мирон, ячменна кладь, в Ильин-от день не понаведалься? Власьевна бражку варила.

Савватка был неопределенных лет, худ и мал ростом, лицо в морщинах, глаза острые, как шилья, на плечах пониток, черный от копоти, заплата на заплате, а на голове войлочная шляпа, которую, верно, носил еще Савваткин дед.

Костер пылал, от смолевых сучьев валил густой едкий дым. Андрей чистил рыбу и слушал разговор приятелей.

— Я тебе, Мирон, пропитал привез: редьки да гороху, да калеги. На одной-то рыбе не проживешь, ячменна кладь. А мука-то еще есть?

— Муки до покрова хватит. Чем я только тебя отдаривать стану?

— Милушка ты моя, Мирон Захарыч! — зачастил Савватка, и лицо его изобразило умиление. — Ничего мне от тебя не надо. Не моги даже и думать.

«Должно быть, хороший человек, — заключил про себя Андрей, — а я думал, плут».

— Ну, как там на заводе? — спросил дедушка Мирон.

— Пермяков к Ильину дню нагнали с Юсьвы да с Иньвы. Ох, и было маяты с ними, ячменна кладь. Русскую-то молвь не понимают. Мастер кричит: налево, они — направо. Троих у домны сварило... У кума Петрована полосовое железо нашли в огороде и так отлепортовали, что мужик другую неделю с постели встать не может. А железо-то, бают, подбросили. Данила Зачасовенских последнего глаза лишился, кричным соком плюнуло. Теперь по дворам ходит, христовым именем побирается.

— Жалко мужика, добрый работник был... А как Власьевна живет?

Савватка захихикал.

— Все помнишь свою сударку? Чего ей, старой колотовке, делается — ягоды сушит да грибы солит. Работницу держит, немую. И фатеру сдает. Одним словом, промышляет. Ты как ныне белковал?

— Какая летом охота? Летом я от реки не отхожу, за рыбкой охочусь. Ныне два горностае да огневка в капкан попались. Вот и вся добыча.

— И то добро. А это что за молодец?

— Свойственник дальний, из Усолья.

Савватка лукаво прищурил глаз.

— Лётный, стало быть?

— Лётный.

— Никита Пологрудой давно не бывал?

— Давненько.

Пока беседовали, уха сварилась. Савватка жадно принялся за еду. Наелся и начал хвастать.

— Мне в невод нынче осетер попал. Мужики его впятером вытаскивали.

Дедушка Мирон только посмеивался в бороду.

— А на Черном озере поймали чудо: до пояса девка, а с пояса рыба.

— Ну, уж это враки, — не выдержал Андрей.

— Много ты знаешь, ячменна кладь, — осердился Савватка. — Поживи-ка с мое. Я своими глазами такое-то чудо видал. Прошлой зимой как-то шел от кума с крестин вдоль пруда и вижу: девка сидит и волосы чешет, сама белая, а волосы синие. И таково борзо чешет, только гребень мелькает. Тут я перекрестился, воскресную молитву сотворил. Девка как нырнет в полынью — и как не бывало...

— А сколько вы с кумом хмельного тогда выпили? — спросил дедушка Мирон.

Савватка заплевался, заругался, стал божиться, что он сроду никогда не врал, но дедушка Мирон только рукой махнул.

— Проспись, милой.

Савватка забрал свой пониток, улегся на медвежью шкуру и вскоре уснул, как убитый.

— Добрый мужик, — сказал о нем дед, — только с зайцем в голове.

Стояла глубокая ночь. Холодные осенние звезды играли в вебе. Андрею не хотелось спать: чуждое лицо атаманши выступало из мрака. «Матреша, — шептал он, — Матреша! Где ты, желанная?»

Утром выпал первый иней. Трава казалась серебряной. Опаленные первым заморозком, побагровели листья рябины, в золото оделись березы, а осины, лесные щеголихи, пылали то багряным, то оранжевым, то желтым. Пойма Камы тонула в серой полумгле. Слышно было, как сердито бьют о берег тяжелые волны.

Андрей молча тосковал.

Савватка подошел к нему.

— Слышь, малый... Чего ты живешь у старого хрыча? Айда к нам на завод. Там веселее.

— Ты дедушку Мирона не трожь... Не позволю.

— Чего ершишься? Правду говорю. На заводе и работу настоящую найдешь и невесту я тебе сосватаю такую, что, ячменна кладь, сырьем проглотишь.

— Отвяжись...

На прощанье Савватка все-таки выпросил у деда три шкурки: лису и горностаев. Когда он уехал, Андрей сказал с досадой:

— Плохой человек. Говорил: ничего не надо, а шкурки увез все-таки.

Дедушка Мирон нахмурился.

— Больно ты судить-то скор. Во всех нас худое с добрым переболтано. Кабы не Савватка, не жить бы мне на этом угоре, да и вовсе бы на белом свете не жить. Этот мужик скольких спас... Вот-те и плохой.

«Кто же сам ты такой?» — хотел спросить Андрей и не решился.

Снова потянулись дни однообразной вереницей. Тщетно старался Андрей заполнить их каким-то подобием труда. Он бродил по лесу, слушая задумчивый шорох деревьев. На мерзлую землю падали мертвые шишки, под ногами шелестела побеленная инеем опаль. А вверху в светло-голубой полынне неба стояло невеселое осеннее солнце, и косяки перелетной птицы с жалобными кликами летели на юг.

После нескольких крепких заморозков выпал пушистый легкий снежок, и сразу все волшебным образом изменилось. Земля и деревья празднично засияли в ослепительно-белых покровах. Кама чернела в белых заберегах, по ней плыла шуга.

В один из первых зимних дней в лесу послышался собачий лай.

Дедушка Мирон встрепенулся.

— Никита, никак, идет. Пойду встречать. Друг ведь старинный.

И он, как молодой, выскочил из землянки.

Андрей тоже вышел и увидел, что дедушка Мирон обнимает своего друга. Это оказался огромный мужик с окладистой полуседой бородой. Овчинный полушубок на нем был распахнут и открывал могучую волосатую грудь, на голове у великана красовалась рысья шапка, за плечом висело кремневое ружье, а через плечо походная холщовая сума. Это и был знаменитый по Прикамью охотник Никита Пологрудый. Свое прозвище он получил от того, что зимой и летом ходил нараспашку с открытой грудью.

— Здорово живете, — молвил он басовито.

— Проходи, проходи в хоромину, — приглашал дедушка Мирон, искренне радовавшийся гостю. — Садись, разболокайся. Как живешь-можешь?

— Живем в лесу, молимся колесу. А бегаем еще, благодаря бога, ногу за ногу не задеваем.

Бережно повесил ружье на гвоздь, снял полушубок и сел в одной рубахе на чурбак, поближе к печке.

— За Камень пробираюсь, — сказал он.

— Эх ты, беспокойная душа. Весь век бродишь.

Андрей с любопытством рассматривал Никиту. Великана можно было поначалу испугаться: дремучая борода, густые брови и шапка черных с проседью волос, но ясные детские глаза точно изнутри освещали это страшное, все в шрамах лицо.

— На родину ходил, на Пильву. По Вишере плавал. Возле Полюдова камня медведь маленько помял, недели две отлеживался в Романихе.

— Каков он, Полюд-то? — спросил Андрей. — Большая гора?

— Гора, прямо сказать, красавица, а в горе богатырь сидит. Сторожит богатства неисчислимые, золото и серебро. Кто найдет тайный ход да доберется до самого нутра горы, тому Полюд дает взять с собой пригоршню золота да пригоршню серебра, а коли ты еще в карманы покладешь, не обессудь — в той горе навеки останешься.

— Справедливый он, богатырь Полюд. Что ж ты, милой, не пытался в гору-то слазить? Никита улыбнулся.

— Мне, Захарыч, сам знаешь, богатство ни к чему. Я своим житьем доволен.

— То-то весь век в рамках и ходишь, а твоими трудами Алин в Чердыни дом сгрозил.

— Алин — мужик умный.

— То-то и есть, что умный, да говорится: не верь уму, верь совести. А у купца вместо совести — кошелёк с деньгой. Эх ты, простота! Шестьдесят тебе лет, Никита, и все ты дитё.

— Ладно, Захарыч, не ругайся. От себя не уйдешь: каким в колыбельку, таким и в могилку.

Андрею понравился охотник: чуялась в нем большая и добрая сила.

Уже ночь наступила, зажгли лучину, старики сидели за столом. Андрей лег на лавку и сквозь дрему слушал их беседу, и то, что он услышал, заставило его насторожиться.

— С Матреной виделся.

— Ну? Где?

— Далеко, возле Тулпана.

— Эх, ее куда занесло.

— Да, там ей добро жить. По лесам зверя, дичи набила. Рыбы в Колве, слава богу, хватает. Думает зазимовать в тех краях.

— Вот бедовая девка!

— Бросить бы ей надо это дело.

— Не бросит. Не таковская. Это мы с тобой бросили, да и то поневоле. Ты-то раньше отбился, а я с Безручком до последу был.

— И то диво, что уцелел. За твою голову, есаул, большие деньги сулили.

— Да, кабы о ту пору Савватка с лодкой не подоспел, поминал бы ты меня, Никита, за упокой.

— Гляди-ко, ведь сколько лет прошло, и теперь уж никто не помнит, как ты с Афонею на демидовских заводах суд и расправу чинил.

Дедушка Мирон глубоко вздохнул и опустил голову.

— Годы, они, брат Никита, все заровняют. А доброе дело народ завсегда помнить будет. Это ты не говори, что забыли. Помнят. У народа память железная.

«Вон оно что, — подумал Андрей, — крестный-то с крестницей, оказывается, ближняя родня. Ай да дедушка Мирон!» И от того, что узнал дедову тайну, еще больше полюбил этого человека.

Никита погостил у своего друга дня три и ушел за Камень.

Реки застыли, в лесу лежали сугробы, снег опушил деревья и кусты. По ночам выли волки. Андрей тосковал по работе, по людям.

Однажды приехал на санях Савватка. Он привез деду муки. На этот раз Андрей сам заговорил с ним о заводе.

— Только как на работу меня примут? Ведь я беглый.

— Работных людей не хватает. Только-только поставлен завод. Примут. Поедем. У меня и жить будешь.

Но тут дедушка Мирон вмешался:

— Савватка — бобыль, станете оба жить впроголодь. Ты просись к бабке Власьевне. Скажи, Мирон послал. Там тебе, по крайности, теплый угол будет.

— Вот, ячменна кладь, нешто я не житель?

Андрей скорой рукой собрался на новое жительство. Простился с дедушкой Мироном, как с отцом родным. Старик поглядел на него своими светлыми глазами грустно и ласково, обнял.

— Ну, милой сын, желаю тебе удачи. Помни мое слово: каков ты к людям, таковы и люди к тебе. А работы не бойся — работа, она человеком делает... Не поглянется — приходи ко мне обратно, место найдется...

Мягкими пушистыми хлопьями валил снег. Андрей с тревогой наблюдал, как все гуще и гуще белели спина и плечи сидевшего впереди Савватки.

— Н-но, милая! Прибавь шагу, потрудись, недалеко осталось, — уговаривал тот свою тошу кобыленку.

По Каме ехать было легко, но когда свернули в сторону и до завода оставалось ещё верст семь, дорога стала прямо-таки убойной.

— С осени изломали, — пояснил Савватка. — Сперва на заводе-то медь плавил. Поставили фабрики молотовую и доменную, а руду да чугун из Кизела возят. Покудова три горна действуют да шесть молотов. Работных-то людей большой нехваток.

— Каково у вас тут людям живется?

— Наши строгановские против других-то как у Христа за пазухой живут.

Андрей задумался. Что, в самом деле, если там, на заводе, о работных людях начальники пекутся, как о родных? Лучшего и желать не надо.

Снег падал и падал, с шуршаньем ложась на землю, даль казалась белесой и мутной в непрерывном мельканье снежного роя. Андрей, ехавший в гуньке, подаренной дедом Мироном, продрог и все чаще соскакивал с саней, чтобы согреться на бегу. Савватка

подбадривал:

— Потерпи, парень, скоро Чермоз. Вон за тем взлобком.

Он понужал кобылу, и сани скоро остановились у первой избы. Над входом почему-то висела елка.

— Приехали? Ты здесь живешь? — обрадовался Андрей.

— Не, я дальше. Здесь Иван Елкин, как его минуешь, обогреться надо.

Из полуоткрытых дверей избы валил пар, доносился пьяный говор. Приколоченная елка, оказывается, означала кабак.

Андрей ни разу еще не бывал в подобных заведениях и не решался войти.

— Айда, айда! Чего встал? — торопил Савватка.

— Иди, я лошадь покараулю.

— Никуда она не денется. Айда!

И он чуть не силой затащил Андрея. Они вошли в комнату, довольно просторную, со столом посередине, за которым уже сидело пятеро мужиков. В глубине комнаты за стойкой разливал водку и вино сам хозяин кабака, плотный мужчина с тяжелым взглядом из-под кустистых рыжих бровей. Савватка, сняв шапку, поклонился ему и зачастил скороговоркой:

— Как здоровьице, Семен Трофимович? Как детки? А мы вот с племянником из самого Кизела едем, продрогли до пят. Не одолжишь ли по чарочке? За мной не пропадет.

Андрей вовсе не собирался пить, но видел, что и кабатчик не очень-то согласен верить в долг. Ему стало жаль Савватку, и он пошарил в кошелек.

— Я заплачу.

Выпив стакан сивухи, Савватка повеселел. За столом у него нашелся знакомец, рябой, с тусклыми рыбьими глазами, безусый и безбородый.

— Перша! Да как ты сюда попал? Тебя, ровно, в Ильинское наряжали.

— Вот из Ильинского я и привез земляков. Село-то ведь к нашему заводу приписано. В курени которых послали, а этих в доменную фабрику.

Два парня сидели с заплаканными лицами.

— О чем ревете? — набросился на них Савватка. — Да, ячменна кладь, кабы не моя поломанная нога, я бы сейчас кричным мастером робил. Из-за ноги меня с работы прогнали.

Перша поддержал.

— Привыкнул. Человек не собака — ко всему привыкает.

На другом конце стола сидели двое, обнявшись, и пели что-то очень унылое. Андрей старался разобрать слова. Это была песня на языке коми:

Босьта мэ, босьта ноп се,
Босьта мэ, босьта бед се,
Муна мэ, муна кузь туй кузя,
Воа мэ, воа сед вершэре...

— Что это они поют? — спросил Андрей.

Перша, оказавшийся совсем трезвым, охотно перевел:

Возьму я, возьму котомочку,
Возьму я, возьму дубиночку,
Пойду я, пойду по долгой дороге,
Буду я, буду в черном лесу...

— Эй, вы, иньвенские! — крикнул он певцам. Те замолкли и испуганно подняли головы. — Не вздумайте лыжи наострить. По всем дорогам караулы расставлены.

Наступила жуткая тишина. Даже Савватка прикусил язык. Пермьяки поднялись со скамьи и, пошатываясь, направились к выходу.

«Эге-ге, — подумал Андрей. — Вот тебе и у Христа за пазухой».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Чужая сторона

Прибавит ума.

Пословица

Дом бабки Тетюихи, или Домны Власьевны, стоял возле заводской церкви. Место это по-старому звалось Кекуркой. Покойный муж ее был причетником, и после смерти его Домна стала просвирней. Так и звали ее Домна с Кекурки, или Тетюиха. Она не только пекла просфоры, но промышляла и другим: заговаривала кровь, бабничала, содержала комнату для приезжающих, пускалась и в коммерцию: в престольные праздники ездила с товаром в Майкор и в Ильинское на базар.

Обо всем этом Андрей проведал от полупьяного Савватьки, который вез его прямо к Власьевне, так что он узнал свою будущую хозяйку еще до знакомства.

Было уже темно, когда они добрались до нее. Савватька постучал кнутовищем в ставень. Послышались шаги.

— Кто там? — спросил сонный голос.

— Отопри, матушка Домна Власьевна, привез тебе постояльца да поклончик от Мирона Захарыча.

— Пожалуйте, пожалуйста! Агашка, отопри!

Ворота распахнулись, и сани въехали во двор, наглухо крытый.

— Здравствуй, матушка, вот молодца тебе привез. Он из благородных. В контору бы его пристроить, — тараторил Савватька.

Домна Власьевна испытующим взглядом смерила «благородного» с головы до ног, увидела гуньку с чужого плеча, летний картуз на голове, стоптанные башмаки на ногах и все поняла.

— Заходите в избу на мою половину.

У Домны Власьевны было уютно: и половики на полу, и лавка круговая, и ставец с посудой в стене, и стол с камчатной скатертью, и картина с изображением ступеней жизни человеческой. На голбце лежал сытый, тигровой масти котик.

Сама Домна Власьевна оказалась пожилой женщиной, со следами былой красоты. У ней было такое доброе лицо, что Андрей не скрыл от нее страшной истины, рассказал все: как он бежал, как попал в лагерь Матрены, а потом к дедушке Мирону, как соскучился по людям, по работе, по настоящей жизни.

— Эх, дитяtko, тебе бы жить да жить у Мирона. У нашего попа железными просфорами кормят. Не поглянется тебе. Ну, да утро вечера мудренее. Ложись спать.

Андрей залез на полати, а Савватька о чем-то долго вполголоса говорил с хозяйкой. Сквозь сон Андрей слышал, как Савватька кричал и говорил: «Спаси, Христос! Дай бог не по последней».

Утром Власьевна накормила Андрея оладьями и отправила в контору, желая всякой удачи.

Контору он отыскал быстро, потому что во всем заводе было только два каменных дома: контора и управительский дом, оба они стояли на высоком месте за плотиной. Зашел Андрей в помещение конторы, да так и остановился: до того знакомой показалась обстановка, точно в Усолье вернулся. Так же сидели за своими столами конторские писцы. У каждого гусиное перо за ухом, перед каждым чернильница, банка с песком и сандарак — притирать скоблешки, чтобы не растекались чернила. В углу за высокой конторкой сидел бритый пожилой мужчина в парике — начальник заводской канцелярии, или, как его называли, правитель дел.

К нему-то и обратился Андрей.

— Хотел бы получить работу. Я конторское дело знаю, грамоте учен.

Мужчина в парике устремил на него ничего не выражающий взгляд и процедил сквозь зубы:

- Ступай в распомечную.
- Куда? — удивился Андрей.
- В распомечную, сказано.
- Это рядом изба, — подсказал один из канцеляристов.

Андрей пошел разыскивать «распомечную». Там он застал своих вчерашних знакомых: Першу и двух ильинских парней. Распаметчик записывал их в доменную фабрику. Парни с унылым видом выслушали решение своей судьбы.

- Ну, а тебе что? — спросил распаметчик Андрея.
- Из конторы послали.
- Фамилия, имя?
- Некрасов Иван, — соврал Андрей.
- Эх, какой ты рыжий, кудри огнем горят. Тебя надо поставить поближе к огню.
- Отправь его на домну, — подсказал Перша, — под начал ко мне. Через год мастером будет.

— Будь по-твоему.

Так вместо конторы угодил Андрей Плотников на огневую доменную работу.

Непривычного человека ужас охватывал в этом закопченном сарае, где вспышки пламени озаряли черные стены и усталые лица людей в кожаных запонах. Пламя бурлило, клокотало и, казалось, готово было вырваться, чтобы сжечь людей.

- Ух, и жара! — говорит один.
- Не дай бог, — отвечает другой и жадно пьет из ковша ледяную воду.
- Ну, чего рты разинули? — кричит Перша.
- Да что-то плавится худо.
- Сбегайте за мастером.

Сверху в поддоменник спускается пожилой рабочий с чахлой бородкой, с таким же, как у всех, побывавших на огневой работе, почернелым лицом.

- Что случилось?
- Домна опять зауросила, Петрович.
- Мастер поглядел в фурменный глазок.
- Должно, руда попалась тугоплавкая, перемените сыпь.

Люди чуть не падают от изнеможения. Трудно становится дышать от нестерпимой жары. Кружится голова, и часто начинает стучать сердце.

Сквозь почерневшие балки поддоменника видны голубые просветы зимнего неба.

— Эй, сторонись!

Несколько рабочих тащат тяжелый короб с флюсом.

Шестисажженная домна, как ненасытное чудовище, готова без конца глотать эти короба с рудой, известковым камнем и флюсами. Непрерывно везут по плотине уголь, таскают носилки.

Ровное розовое пламя колеблется над пастью домны. Работники заваливают уже десятую колошу. Время от времени взрывается пламя, люди отбегают. Прозеваешь — обожжет огненным дыханием.

Андрей мучительно переживал первые дни новой работы, хотелось поскорее привыкнуть к ней.

Поставили его на просевку песка для опок. Вместе с ним работали два брата с Иньвы, кроткие, молчаливые люди.

...Печь клокотала все яростней и яростней, тучи искр и дыма вырывались из жерла домны. Деревянные клинчатые мехи нагнетали воздух в фурмы. Тихо и медленно двигалось огромное маховое колесо, и с каждым его поворотом, свистя и хрипя, растягивались мехи, и гудела домна. Брызги ледяной воды падали из водяного ларя. Грохот стоял такой, что,

казалось, можно было оглохнуть. Мастер кричал в переговорную трубку. Чугун опускался все ниже и ниже и становился молочно-белым.

— Господи благослови! Сварилось. Отходи!

Из устья печи хлынула ослепительно яркая струя и поползла светящейся змеей, разбрасывая искры. Они взлетали к высокому черному потолку, вылетали в просветы между балками и таяли там. А чугун лился в формы и остывал в них. Сначала оранжевый, потом красный, потом багровый, он темнел все больше и больше. Невольно залюбовался Андрей.

— Ну, чего стоишь болваном! — раздался сзади голос Перши, и Андрей едва не упал от сильного удара палкой по спине.

Мгновенно обернулся и, сжав кулаки, кинулся на обидчика. Тот отскочил и со злобой пробормотал:

— Вишь, какой сердитый. Ну, погоди ты у меня.

На следующий день Андрея поставили на работу еще более трудную и опасную — заваливать руду и флюсы. Молча подчинился юноша этому новому повороту в своей судьбе.

«Где бы ни работать, лишь бы работать».

Время шло и все помаленьку заравнивало. Стал Андрей привыкать и к работе и к людям. Полюбил он мастера Петровича за его умение варить чугун и во всякое время справляться с уросливой домной, жалел ильинских, которые никак не могли привыкнуть к «огненному действию». Нравились ему ильинские парни, поставленные на доменную работу. Один из них был совсем смирный, зато другой оказался малый хоть куда: белобрысый, со шрамом на щеке, с лукаво щурившимися глазами, Никифор Лисьих всех потешал рассказами о всевозможных приключениях, а больше всего о чужих краях. Сам он о них, по его словам, слышал от дворового, услужавшего господам, жившим в Ильинском, где была главная строгановская контора.

В часы, когда, завалив в домну очередную колошу, мастеровые шабашили, вокруг Никифора собирались любители послушать забавные его истории. Мастеровые сидели на бревне, макая сухари в воду. А Никифор с жаром рассказывал.

— И вот есть такое царство Бухарское. Ежели на полдень пойдешь, не сворачивая, прямехонько в него попадешь. Живут тамо-ка люди нерусские, черномазые, одним словом, арапы...

— Сам ты арап. Погляди на рожу — черней чугуна.

— А ты не мешай. Слушай дале. Тепло тамо-ка круглый год такое, что и одежи не надо.

— Вот это добрая сторона! Стало быть, и зим нет?

— Одно лето. И земля тамо-ка изобильна. Что ни посади, все родит. Люди ходят всегда сытые.

— Вот бы в такое место попасть.

— А в Кукане-городе нашего брата принимают бесперечь и избу дают и бабу дают.

— Ну, Никишка, совсем ты заврался. Тамо-ка да тамо-ка!

— Хочешь верь, хочешь не верь.

— А еще что есть?

— Тамо-ка, братушки, фрухта заморская растет, на язык сладка и уедлива.

— Это в Кукане-то?

— Знамо, в Кукане... Житье тамо-ка привольное — никакого начальства нет...

— Ты про какой это Кукан кукуешь? — послышался за спиной голос Перши. — Где это начальства нет? Пойдем-ка, друг, к уставщику.

Все испугались, а Никифор побледнел.

— Не может того быть, в сам деле, — подтвердил Петрович, — как можно без начальства? Где народ, там и начальство. В самый дальний Кукан забреди, начальство тут как тут...

Все засмеялись, но Петрович оставался серьезен.

Внутри доменной стоял вечный полумрак. От земляного пола, от сваливаемой в кучи руды в воздухе постоянно кружилась пыль.

Расплавленный металл выпускали в летку, и от него шел голубоватый дым. Литейный двор как будто наполнялся молочным туманом. Люди томились от жажды даже в зимнее время. Бочонок с подсоленной водой стоял в углу, к нему то и дело бегали напиться, но это не прибавляло сил.

Андрей старательно учился у опытных рабочих, как нужно держать носилки, как сбрасывать и поднимать, не делая лишних движений. Больше всего тянуло его узнать само доменное действие.

Андрей часто стоял за спиной мастера, когда тот «колдовал» у печи.

Однажды Петрович обернулся и не то с досадой, не то насмешливо спросил:

— Не видал чугунного молока?

Андрей честно ответил:

— Как не видал, да научиться хочется, твою тайность охота познать, Петрович.

— Ты что, стервец, удумал?

Петрович ударил Андрея по спине, но похоже не со зла.

— Никому тайности моей познать не дозволено.

И снова гудит домна, все сильнее и сильнее гудит она. От поворотов водяного колеса сотрясаются пол и стены поддоменника.

...Как-то в конце работы Петрович дернул Андрея за рукав.

— Слышь, приходи ко мне в воскресенье после обедни.

В воскресенье — это значило через день.

В субботу, как водится, у всех на огородах топились бани. Когда Андрей пришел с работы, баня уже истопилась. Власьевна сидела за столом, с головой, завязанной полотенцем, и охала. Агафья стояла перед ней с деревянным выражением лица.

— Дура ты приснопамятная! Уморить, что ли, меня собралась? Ведь к завтраму просфоры надо печь. Ой, головушка моя победная!.. Да что ты столбом-то стоишь? Принеси хоть рассолу!

Агафья молча пошла выполнять приказание.

— Ты, Андрюша, обожди ходить в баню-то, угоришь. Да и Савватка сулился придти. Вместе и сходите.

Савватка не заставил себя ждать и вскоре прикостылял.

— Здорово, матушка Домна Власьевна! Хвораешь? То-то, сколь разов говорил тебе: не ходи в первый пар. Неровен час и кончину примешь. У меня с кумом такое приключилось...

— Не мели языком! Ступайте с Андрюшей. Веники возьмите... Агашка, дай им веники.

Банька у Власьевны отличалась, как и все в ее хозяйстве, чистотой и добротностью.

Раздевшись, Савватка тотчас полез на полку и принялся хлестать себя веником так усердно, такого надал пару, что Андрей не один раз выбегал в предбанник. Напарившись всласть, Савватка стал мыться. Он пришел в блаженное состояние и говорил без умолку.

— Вот ты, Андрюха, глядишь на меня и думаешь: непутевый ты, Савватка, пьяница и н#233;роботь, ячменна кладь...

— Никогда я такого не думал, Савватий.

— Не думал — и хорошо. Я, Андрюха, добро жил, семейно, из полного сусека ел. В кричной робил и лучше меня подмастерья не было по всему заводу. Подхватить крицу на вилки — это для меня было все равно, что плюнуть. Я ведь с основания завода, коренной работный человек... И так мне сперва счастливо: женился, хозяйство завел, дом выстроил. Сын родился, в дедову память Иваном нарекли... А потом, ячменна кладь, как под гору покатился. Сломал ногу и работать не замог. А любил я ее, заводскую работу, хоть и тяжелая она. Год прошел — умер от черной немочи парнишко. Нога-то у меня худо срасталась, лежал я лежнем, а жена и за себя и за меня вымогалась на господской работе. Ну и надорвалась... Похворала год и богу душу отдала. Так вот оно, Андрюха, и пропало все, и остался я бобылем, ячменна кладь...

— Горькая твоя доля, Савватий.

— А ты не жалеешь! Не люблю, когда жалеют. Давай-ко мы лучше кваску выпьем...

Одеваясь, он подмигнул Андрею.

— Зазнобушки-то еще не нажил? Коли надо, скажи. У меня в соседях живут девахи добрые, работающие. Женю тебя: я в посаженные отцы пойду, Власьевна — в матери... Живой о живом думает, Андрюха... Чуешь?

— Рано мне об этом думать, — хмуро отрезал Андрей, образ красавицы-атаманши опять встал перед ним, и сердце запылало.

— Во всяком разе, коли приключится какая нужда или беда, не забывай хромого Савватюку. Выручу... Спроси у дедки Мирона, как мы с ним встретились. Я, брат, Андрюха, даром, что калека, каждого насквозь вижу...

Андрей перестал слушать. Савватюка попал на свою колею и пошел врат да хвастать.

В воскресенье после обеда Андрей не без робости отправился к Петровичу.

Жил мастер недалеко от церковной площади на самом уветливом высоком месте, где ставили первые заводские избы. Отсюда пошла главная заводская улица. Дома строились «по-расейски» — огороды на задах, с улицы высокое крыльцо с подклетью.

Таким был и дом Петровича.

Поднявшись по ступенькам крыльца, Андрей зашел в сенцы, разделявшие избу на две половины. Не зная, в которую дверь стучать, наугад постучал в левую. Оказалось, тут и жил сам хозяин.

Петрович, хоть и полагалось в воскресный день отдыхать, стоял у окошка, затянутого пузырем, и на небольшом аккуратном верстачке выпрямлял железный прут. Хозяйка вынимала из печи пирог. В комнате стоял густой и острый запах сига.

— Разболейся да садись за стол, — повернувшись в полоборота, сказал Петрович.

Редкие волосы у него были ради праздника расчесаны и примаслены. Непривычно было видеть его без кожаного запона, без вачег — в рубаше с вышитым воротом, подпоясанного пермяцким узорчатым поясом.

Постукивая ручным молотком, Петрович говорил своим глухим сиповатым басом:

— К пирогу поспел. С сигами пирог. У купцов чердынских рыбу купил.

Жена Петровича тем временем накрывала стол, ставила на него деревянную тарелку с сеговым пирогом.

— Ешь, — скомандовал Петрович.

Пирог оказался сочным, вкусным. Отправляя в рот кусок за куском, Андрей разглядывал комнату. Стены и пол были чисто выскоблены. Единственный сундук заключал в себе, видимо, все имущество старого мастера. На полках стояла посуда — глиняная, деревянная, и, видно, многое сработано было руками самого Петровича, в том числе берестяная солонка и ложки с фигурными ручками. На стене красовалась лубочная картина «Погребение кота мышами».

Завтрак прошел в молчании. Затем хозяин с Андреем выпили по полной кружке пермяцкой браги, хлебной и сытной.

— Так, говоришь, тайность мою хочешь узнать?

Петрович кинул на Андрея быстрый и, как тому показалось, насмешливый взгляд.

— Ни к чему она тебе. Ты человек залетный. Сегодня здесь, завтра там. А мы здешние, коренные. Нами заводы строятся, нами держатся. Худо ли, хорошо ли — все одно мы к заводу как пришитые.

— Что ты, Петрович! Я думаю остаться здесь.

Помолчал Петрович и глянул пронзительно.

— Дальний ты?

— Усольский. Служителев сын. Отца давно в живых нет.

— Как же ты в краях наших очутился?

Андрей замялся.

— Не бойся. Не выдам.

— Беглый я.

— То-то и есть. Ты беглый и дале побежишь, а мы останемся.

«И с чего это он заладил одно и то же, — с досадой подумал Андрей. — Не нужна мне его тайность в таком случае».

— Грамоте учен?

— Учен.

— И то добро... Выйди-ко, Арина.

После того, как жена вышла, Петрович, испытующе глядя Андрею в глаза, начал вполголоса:

— Позвал я тебя как человека нездешнего и, видать, грамотея. Хочу тоже узнать одну тайность.

Он понизил голос до шепота.

— Правда ли, будто царь Петр Федорович жив? Слух идет, что сокрылся он... И будто в наших местах сокрылся.

Андрей ответил, что ничего такого не слыхал. Петрович стал пасмурен и молчалив. Андрею стало жаль его, он спросил:

— А какое это может иметь следствие?

— Дело то государственное, — ворчливо заметил мастер, — а ты еще млад и глуп. Разговор явно не клеился. Андрей поблагодарил хозяина за угощение и распрощался.

Шел он по улице и думал: не спроста идет слух о покойном императоре. Ждет чего-то народ.

Солнце багровело к морозу. Идя мимо соседней избы, Андрей услышал пение и топот каблучков. «Живой о живом думает», — вспомнились ему слова Савватки.

«А завтра ни свет ни заря эти же люди пойдут кто в кричную, кто в доменную, кто в кузню, кто в меховую фабрику».

Андрей не без удовольствия подумал, что теперь уже не страшно ему «доменное действо», что становится он работным человеком, таким же, как все, окружавшие его.

На следующий день поставили его на поддоменную работу. Андрей понял: тут обошлось не без Петровича и обрадовался: признают его, стало быть, заправским рабочим.

Живя на заводе, Андрей понял, кто здесь составляет главную силу. Такие, как Петрович, знали дело лучше всех приказчиков, вместе взятых.

На каждой фабрике были свои мастера-умельцы: искусные литейщики и кузнецы, слесари и токари, кричные мастера, управлявшиеся с раскаленным металлом, знаменитые строители плотин, каменщики, воздвигавшие здания на вечные времена. Каждый из них вносил в общее дело свой опыт и умение. Без них рухнуло бы все заводское действо, и железное дело пришлось бы прикрыть.

Андрей все больше и больше втягивался в заводскую работу. Хотелось ему стать заправским мастеровым, но случилось так, что в жизни его снова произошел крутой поворот.

Наступила весна, и по улицам побежали мутные ручьи. Лед на пруду побурел. На деревьях, еще голых, неумолчно кричали грачи. Все чаще заводские крестьяне стали поглядывать на обнажавшуюся землю: с каждым днем все больше манила она хлеборобов.

В этот роковой день Андрей встал по обыкновению на рассвете, хотя и было воскресенье. Расчесал кудри, умылся и, не зная, чем себя занять, взял книжку. Ее оставил один из постояльцев Власевны. Называлась она «Лолота и Фанфан».

«Кроткому духу нравится резвое журчание ручейков и густая тень рощей, а особенно тогда, когда я, о, люди, схоронил свое сердце далеко, далеко!»

Читая эти строки, Андрей усмехался. Сразу видно, что барин сочинял. Было время слушать журчанье ручейков. А тут спину некогда разогнуть. Перед глазами встала вчерашняя встреча с мастеровым из кричной фабрики. Парень шел и стонал.

— Что с тобой?

— Уставщик избил... Каждый день бьет, незнамо за что.

«Незнамо за что» били всех. Эх, кабы не было над работными людьми злодейской

власти!

Андрей отправился к Никифору Лисьих, с которым последнее время подружился.

— Что-то надо делать, Никифор. Худо живется людям. Может, начальство не знает, как обижают нас уставщики и надзиратели?

— Как не знает! С ведома управителя и декуются над нами. Меня за пустое слово выпороли при конторе. А кому я согрубил?

— Нет, надо что-то делать?

— Слезницу писать?

— От слезницы толку не будет, а вот с глазу на глаз поговорить с управителем...

Никифор ничего не ответил, надел шапку и азиям.

— Пойдем, хоть подышим.

У церковной ограды толпились приписные к заводу крестьяне. Они толковали меж собой.

— Время пахать...

— Да, теперь день год кормит.

— Уезжать надо. Мы не собирались так долго работать.

— Начальство нас обмануло.

— Кабы кто грамотный... Сходить бы к управителю. Может, отпустит.

Андрей толкнул Никифора в бок.

— Чуешь?

— Чую.

На другой день в поддоменнике, когда мастеровые стояли возле печи, дожидаясь плавки, Никифор сказал Андрею:

— Слышь, ночью-то пятеро приписных утехали на конях с завода.

— Толково сделали, — отозвался тот. — Жаль, что не все. Пускай начальство слово держит. За людей нас не считают.

— Начальству о нас заботы нет, хоть помри на работе.

— Тихо! — прикрикнул на обоих Петрович. — Глядите-ка, Перша-то слушал, слушал да и пошел... Куда он?

Один из работных выглянул в раскрытые настежь ворота.

— К конторе идет.

— Ну, ребята, спасайте шкуры, — сказал Петрович. — За язык спина ответит, мягче брюха сделают.

Парни приуныли.

— Что делать, Андрюха? — спросил Никифор. — Попали мы в петлю.

— Пойдем к Савватке. Он поможет. Уйти с завода надо как можно скорее...

Савватку они застали за работой: рыбак смолил лодку, посвистывая и напевая песню.

— Помогай бог!

— Здорово, коли не шутишь. Садитесь на приступок. В избу не зову, необходимо у меня.

Изба у Савватки покосилась, крыша прогнулась, а затянутые бычьим пузырем окна походили на бельма.

— Мы к тебе, Савватий, по делу. Выручай из беды. Надо спастись, пока не поздно. Заводское начальство не сегодня, завтра доберется до нас. Увези к деду Мирону.

— Не могу, милок. Погляди, какая ростепель!

Андрей оглянулся вокруг: действительно, о поездке куда-нибудь нечего было и думать. Дорога походила на сплошное болото. В лесу еще лежал снег.

— Так не выручишь?

— Как не выручу, ячменна кладь! Провожу вас в свою землянку на Каме, там дождетесь ледохода. Лодка у меня есть — садись и плыви, куда хошь.

Последний час коротал беглый писец Андрей Плотников в Чермозе. Власьевна уже знала о его намерении и готовила ужин.

— Мне и есть-то неохота, — говорил Андрей, — скорей бы Никифор пришел.

— Как перед дорогой не поесть, Андрюшенька. Что-то с тобой станется? Выбирай себе товарищей добрых, а с лихими людьми не связывайся.

— Для меня, Власьевна, самый лихой человек — это заводской начальник да полицейский служащий.

— Оно и верно. Сама начальство не люблю. А все-таки сидишь тихо, так и начальство не тронет.

Андрей хотел ответить, что ничего не боится, но в ставень постучали. Это был Никифор.

— Готов?

— Готов.

— Садитесь, поешьте, — упрасивала Власьевна, но приятели отказались: хотелось скорее уйти от опасности.

Сердечно простился Андрей со своей хозяйкой, благодаря ее за все заботы о нем. Домна Власьевна прослезилась:

— Как родного сына, тебя провожаю. Так весь век и расстаюсь с дорогими сердцу: в молодости мужа похоронила, потом друг милый в разбойники ушел, а теперь и с тобой прощаюсь. Береги себя, Андрюшенька, не ввязывайся в худые-то дела.

Ночь была звездная. Тихо, тихо журчали ручьи. Черные тени от деревьев и домов падали на землю, не успевшую еще застыть. Лес маняще темнел вдаль.

Савватка ждал их уже во всей амунии, с дорожной сумой, с топором за поясом у ворот своей усадьбы, от которых остались одни верей (притворы ушли на истоплю).

— Где вы запропали, ячменна кладь?

— Не сердись, Савватий! Пошли.

Земля начала подстывать, идти становилось все легче и легче.

Андрей с Никифором поселились в землянке на крутом берегу Камы.

Неласковая северная весна улыбалась все чаще. Уже зазеленела трава на угорах. Лес звенел от птичьего гама.

Солнце играло в голубой вышине, только ветер с севера, с далекой колвинской и вишерской пармы дышал холодом, да в разлогах под сенью островерхих елей еще лежал белыми плешинами не растаявший снег.

Лед на Каме тронулся ночью. Андрей, проснувшийся от шума, разбудил Никифора. Тот поднялся недовольный, почесываясь.

— Чего ты?

— Да погляди, красота-то какая!

Андрей стоял на берегу и не мог оторвать взгляда от быстро несущихся льдин. Они со скрежетом задевали одна о другую. Вода под ними шипела и пенилась. Кама словно срывала с себя оковы. Все шире и шире становились разводья. Они блестели в лучах полного месяца. А льдины плыли и плыли...

Всю ночь и весь день плыли они.

Вскоре Кама очистилась от льда.

— Ну, Никифор, скоро и мы с тобой поплывем.

— Я к себе в Ильинское. Тятка с мамкой, поди, глаза обо мне проплакали.

— Берегись, больше суток тебе там жить нельзя. Поймают — засекут. Укажу я тебе надежную пристань.

И Андрей рассказал, как отыскать землянку дедушки Мирона.

— Пожалуй, и вправду нельзя мне оставаться дома. Стало быть, вся жизнь моя теперь по ветру летит? Как ты полагаешь?

— Не жалею, Никифор.

— Я на все пойду. Мне самого себя не жаль. Только от родных мест неохота уходить.

— Может, еще и наладится твоя жизнь. А я на низ подамся, в Кунгур либо в

Екатеринбург. В большом городе и укрыться легче.

Утром Никифор все-таки ушел в Ильинское.

Андрей готовил лодку к отплытию, конопатил щели, прибил доску на сиденье, стругал весла.

Отплывал он в ясную погоду, в солнечный ветряный день. Ветер завывал водяные стружки. Широка и величественна была в эти дни Кама. Вся она радостно светила под солнцем, словно торжествуя свое освобождение. Прибрежные тальники поднимали над водой верхушки голых веток. Вода прибывала. Мутная, сердитая, она заливала пойму. Река текла, кружа воронки, подмывая глинистые берега, и чем дальше, тем шире становились камские просторы.

Андрей полной грудью вдыхал свежий речной воздух. Как проголосная песня, лилась перед ним Кама, силой и волей веяло от нее.

Чем дальше плыл Андрей, тем больше видел он народной беды. Она как будто со всех сторон облежала его.

Вот уже около недели плыл он вниз по Каме. Недалеко от Осы зашел в деревушку. Посредине деревни возвышалась виселица. Пусто, ни души не было на улицах, некоторые избы стояли с заколоченными ставнями.

— Что тут у вас учинилось? — спросил Андрей первую встречную.

Женщина, не глядя на него, тихо, неохотно проговорила:

— Драгуны наезжали.

Андрей догадался, что попал на кровавый след карательного воинского отряда князя Вяземского.

— Будь навеки проклят, злодей, — прошептал он.

В Осе решил отдохнуть, купить хлеба.

Зашел на постоялый двор в посаде. Постояльцев оказалось немного: один торговый с помощником, молодым пареньком, да отставной капрал. Все трое сидели за столом, ели щи и беседовали. Подсел к ним и Андрей.

В открытое окно виднелась крепостца, обнесенная тыном с деревянной воротовой башней. На крепостном валу играли ребяташки.

— А это для чего построили? — спросил Андрей.

— Видать, не здешний ты, — ответил торговый. — Был бы здешний, узнал бы, как без крепостей жить. У нас в Кунгуре башкирцы весь город спалили, теперь на новом месте стоит город... Вот какое творится в наших краях. Да что башкирцы, своих бойся, особливо, ежели у кого власть в руках.

— Так ты кунгурский? — спросил отставной капрал. — Земляки будем. Я неподалеку живу от Кунгура.

Был он уже в летах, черные глаза светились умом и энергией. А купец показался Андрею смешным: толстое лицо, маленькие плутоватые глаза, на голове волосы редкие и кудрявые, торчком во все стороны. Говорил купец бойко.

— Давно службу кончил?

— Не так чтобы давно.

— Повидал, наверно, всякого?

— Пришлось и на войне побывать. Знатно бились. Под Егерсдорфом мне в ногу стрелили, а то бы еще долго с пушкой ездил.

— Откуда родом-то?

— Из Богородского.

— Знаю, недалеко от Кунгура. А я купец кунгурский Шевкунов... Слыхал, может?

— Как не слыхать? Шевкунов... Юфтью торгуешь?

— Юфтью. Мы люди именитые.

«Именитый человек» положил ложку, вытер платком безбородое лицо и сказал:

— Прилягу на часок... Ванька! Карауль!

— Прилягте, ваша милость.

Андрей сел за стол и, развязав кошель с сухарями, принялся за еду.

— Скуден, парень, твой обед, — усмехнулся капрал. — Бери ложку и хлебай... — Он придвинул к нему чашку со щами. — Далеко путь держишь?

— Хочу до большого города добраться. Там работу легче сыскать.

Проницательный взгляд бывшего капрала ощупал его.

— Да, справедливо говорится: рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Нашему брату, людям подлого звания, есть над чем подумать... Видал деревню-то?

— Страшно глядеть.

— Бунтовали мужики.

Капрал помолчал.

— Костер потушили, а угольки тлеют.

Много бы мог пересказать старый воин из того, что узнал, проезжая через заводы и села.

Рассказал бы он о том, как крестьяне Масленского острога и Бореневской слободы отказались дать на Азяш-Уфимский завод приписных и долгое время стойко выдерживали осаду, не страшась ни пуль, ни ядер. Рассказал бы, что на Ижевском и Боткинском заводах дошло до вооруженного столкновения между мастеровыми и воинской командой.

А в Невьянском заводе мастеровые, бросив работу, учредили мирскую избу, где устраивали многолюдные сходки.

Мог бы обо всем этом рассказать старый капрал, но время настало такое, что лучше было держать язык за зубами.

Андрей молча и жадно хлебал горячие щи. Давно уже не ел он горячего.

Ел и думал, что ночевать придется на берегу Камы.

На свежем воздухе сон приходит легко. Андрей спал, и снилось ему, будто баюкает его в лодке камская волна. Спал так крепко, что, когда проснулся, ничего не мог понять. А пробуждение было неожиданным и внезапным. Еще сквозь сон почувствовал, как кто-то сжимает ему руки и выворачивает их. Вскрикнул и открыл глаза. Перед ним стояло несколько человек. Один из них, действительно, держал его за руки.

Андрей отшвырнул его от себя и попытался приподняться, но тут же упал — ноги были связаны. Стоявшие над ним захохотали.

— Попалась птаха!

— Чего с ним цацкаться? Тащи в лодку!

Как ни сопротивлялся Андрей, его все же скрутили, связали ремнем руки и поволокли к лодке.

«Что со мной будет?» — промелькнула мысль.

— Скажите мне, кто вы и куда меня везете?

— А тебе не все одно? Везем туда, откуда не воротиться.

— Далеко?

— Небось, доедем.

— Для чего ж вы меня везете?

— Вот дурень! Нешто не знаешь, для чего. Будешь работным человеком. Еще благодарить нас станешь.

И все снова захохотали.

Широки камские просторы. Высоки и могучи вековые леса на крутых камских берегах.

Баюкали когда-то камские волны и персидские суда с цветными парусами, и новгородские ушкуи, и московские струги.

Кровными узами связала себя Пермь Великая с русской землей. Под боевыми стягами Ермака плыли ее сыны в далекий и трудный сибирский поход. Отозвались они и ка призыв Минина спасать родину. Под Полтавой гремели пушки из уральской меди и дрались уральские рекруты, шли уральцы в рядах суворовских чудо-богатырей.

Великий Петр вещим оком разгадал славное будущее Урала. Здесь заложил он широкую основу отечественного железного дела, а вместе с тем показал путь промышленникам и заводовладельцам.

И вот рядом с вотчинами бывших новгородских гостей Строгановых появились владения новых уральских магнатов: Демидовых, Походяшиных, Твердышевых, Осокиных, Турчаниновых, Яковлевых и титулованных заводчиков: Шаховских, Голицыных, Воронцовых, Чернышевых, Шуваловых.

Тысячами пудов везли с Урала штыковое и полосовое железо, не уступавшее в добротности «свейскому», везли уральскую медь, и на рынках Лиссабона, Лондона, Амстердама, Нанта и Гамбурга русский металл славился как отличный.

В огне и буре шел восемнадцатый век. Он гремел Полтавской викторией, победами в Семилетней войне, под Фокшанами и под Измаилом. Россия выходила на первое место среди европейских держав. А внутри страны зрел посев народного гнева. Народ изнывал в оковах, тосковал о воле.

...Связанного по рукам и ногам Андрея везли на медеплавильный господина Осокина завод. Был этот завод больше похож на крепость. Все — и фабрики, и магазейны, и казармы, где жили работные люди, — заводчик приказал обнести частоколом. У ворот бесменно стоял караул.

Андрея втащили в караульную, и тут же его принялся допрашивать полупьяный сержант. Видя, что от нового работника трудно чего-либо добиться, он распорядился развязать пленника и направить в ближайшую землянку, куда уже сходились из фабрики работные люди.

Размяв затекшие мускулы рук, Андрей почувствовал себя легче. Спросил у сгорбленного рудоноса, как живется работным людям на Юговском заводе. Тот повернул к нему костлявое бескровное лицо и сказал хриплым голосом:

— Порядки известные — раным-рано гонят на работу. Все робят: и мужики, и бабы, и старики, и малолетки, и русские и башкирцы, и вотяки и чувашки.

Поглядел Андрей на фабрики, и тоскливо ему стало. Поднимался над ними какой-то зловещий желтоватый дым. Фабричные строения чернели у подножия плотины. В сливных каналах колебалось отражение пламени, вспыхивавшего над плавильными печами. Пруд багряно рдел в лучах заката.

Горько задумался Андрей о своей доле. Почему же он, Андрей Плотников, снова оказался не хозяином, а рабом горестных обстоятельств судьбы своей? Может ли он распорядиться собою, жить по своей воле? — «Могу», — ответил он сам себе.

Он стоял до тех пор, пока не появился красноносый сержант и пьяным голосом не крикнул:

— Т-ты... по какому случаю тут... К-каналья!

Андрей с ненавистью взглянул на него и побрел в казарму. Здесь царила полутьма, в узкие оконца еле пробивался свет. Сперва трудно было что-нибудь разглядеть. Через всю казарму тянулись двойные нары. На бечевках между ними были развешаны онучи, опояски, рубахи. Кислый запах ударял в нос. Люди лежали вповалку. Одни уже спали, другие штопали порванное белье, третьи ужинали. Глухой, сдержанный говор слышался в казарме.

Андрей выбрал свободное место на нижних нарах. Соседом его оказался давешний рудонос. Он со стоном ворочался на нарах.

— Что, землячок? Али занедужил?

— Давно хвораю...

— Сколько же лет-то тебе?

— Пятьдесят второй пошел. Сорок лет на заводских работах состою... Сорок лет... И свету не видал...

Старик надсадно кашлял.

— У нас здесь и помереть не дадут спокойно. Кабы я один такой был, а то вон Степану Оборину за самовольную отлучку сто пятьдесят лозанов дали. Степану-то, ему шестьдесят

годов и к работе он маломощен... Да что старики? Малолеток не щадят. Ванюшке Спирякову тринадцать лет было. Принес домой поделку из меди, чтобы, значит, домашним показать, — взяли под караул в управу благочиния и присудили наказать сотней розог. Парнишка-то был малосильный, заморыш, ну и кончился под розгами... У нас так: помираешь — и то поднимут за ноги, приволокут на работу, и тут тебе полицейское исправление по всей форме определяют. Розгами душу из тела вы нут.

Под этот «веселый» разговор Андрей заснул крепким сном восемнадцатилетнего парня. ...Проснулся он от грубого толчка в бок. Вчерашний сержант стоял над ним, злобно выпучив глаза.

— Вишь, разлегся! Тут тебе не у тещи... Вставай, сволочь!

Кругом сыпались с нар полуодетые люди. Кто надевал рубаху, кто обувал лапти, кто, уже одетый, искал в мешке ложку, кружку, деревянную чашку. Возле казармы за длинным деревянным столом рассаживались работные люди.

— Ешь на весь день, набирайся сил, — сказал Андрею старый рудонос, наливая себе из ведра, стоявшего на столе, полную чашку щей.

«Попал из огня да в полымя, — подумал Андрей. — Ну, коли так, долго здесь не загошусь», — и он жадно поглядел на другой берег пруда.

Вдруг послышался крик:

— На раскомандировку!

Стражники стаскивали со скамей работных, и скоро толпа человек до ста направилась к заводской конторе.

В помещении конторы за столом, залитым чернилами, сидели протоколист и усатый пучеглазый сержант, тот самый, который принял Андрея от его похитителей.

— Рудоносом назначаю, — буркнул он, даже не взглянув на Андрея.

Так начался новый трудовой день в жизни бывшего писца конторы Усольских соляных промыслов.

Руду носили прямо из куч, сбрасываемых рудовозами. Поглядел на них Андрей и ахнул — страшны были эти рудничные со следами рудной охры на лицах, с темно-бурыми руками: десятки лет перебирали эти руки тяжелые куски медного колчедана.

«Ну, мне не впервой», — сказал про себя Андрей, ловким рывком поднимая носилки с рудой.

Руду носили в плавильную — благо, что недалеко. Одноэтажное сооружение фабрики походило на тюрьму. Вверху под самой кровлей поблескивали восемь полукруглых небольших окошек с решетками. Над фабричной крышей высились четыре узкогорлые трубы. Из них поднимались клубы ядовитого желтого дыма.

Внутри фабрики стоял вечный полумрак. От черного земляного пола, от сваливаемой в кучи руды в воздухе кружилась густая едкая пыль.

Расплавленную медь выпускали в летку, ею наполняли тачки, из которых огневая жидкость разливалась в круглые ямы, вырытые в земле. От льющегося металла шел голубой и едкий дым. Плавильная наполнялась белесым туманом. Дышалось тяжело, и работные, поставленные к плавильной печи, всю ночь харкали «чернядью».

Полуголые, стоя на коленях, дробили они куски руды, а ее требовалось несколько сот пудов на урок.

«Вот тебе и новая работа», — думал Андрей, с ожесточением таская носилки.

Руда плавилась. То в один, то в другой фурменный глазок смотрел плавильный мастер.

Со скрипом вращалось водяное колесо. Из мехов дул сильный ветер в горны. А в горнах полыхали золотые огни с синими языками. На поверхность всплывала кровянистая медь и черный медноватый чугун. Люди у горнов задыхались от жары.

Андрей качался от усталости. В нем все более закипала злоба. Он вспоминал Петровича — умного, знающего мастера, своих товарищей по доменной работе. И там за спиной стояли такие, как Перша, заставлявшие работать хотя бы и через силу, но здесь еще больше

почувствовал Андрей рабское свое состояние.

Выпустили медь. Ослепительно сверкая, полилась она в изложницы.

Вдруг раздался душераздирающий вопль. Бросив носилки, Андрей кинулся в ворота плавильной. На полу, возле печи, извиваясь, как червяк, катался человек. На нем пылала рубаха, пахло чадом горящего тела.

Вокруг сгрудились испуганные мастера.

— Воды! — закричал Андрей. — Что встали столбами? Человек кончается...

Несколько мастеровых бросились за водой.

Горевшего подняли. Лицо и борода были сожжены.

— Братцы, — стонал он, — родимые...

Голова его бессильно откинулась.

— Тигли! — кричал плавленный мастер.

Гнев овладел Андреем. Все, что он перенес за эти последние полгода своей жизни, встало перед ним в кровавом образе заводского начальника, как враждебной человеку силы, и когда в плавильную пришел унтер-шихтмейстер, толстомордый и дюжий, он крикнул:

— Долго нас казнить будете?

Тот даже попятился. И вдруг произошло одно из тех событий, когда люди действуют неожиданно даже для себя самих.

На крик Андрея все повернули головы.

Литухи побросали тигли, рудоносы — носилки.

— Не кормите, а работу спрашиваете!

— Где у вас правда?

— Докудова тиранить будете?

Унтер-шихтмейстер кричал что есть мочи:

— Встать на свои места!

Его не слушали. Каждый торопился высказать свои обиды.

Пришли двое рабочих, уносивших обгоревшего из фабрики.

— Помер.

Негодование еще сильнее овладело толпой. Кой-кто схватились за ломки.

— В печь его, толстомордого!..

Андрей схватил унтер-шихтмейстера за шиворот к, повернув его лицом к выходу, вытолкнул из плавильной.

...А через час он, в сопровождении двух стражников, стоял перед красноносим сержантом, и тот, не то с сожалением, не то со злостью глядя на него, говорил:

— Эх ты, балда! Рудник заработал, да еще с исправительной казармой...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Работали мы день до вечера,

До потух-зари.

А с потух-зари мы домой пошли,

Домой пришли позднехонько.

Под окошечко постучались —

Отцы, матери испужались.

Песня

Бадья быстро опускается вниз вглубь шахтного колодца, в «дудку». Раскачиваясь, она ударяет то об одну стену, то о другую. Внизу — пропасть, темь, зловещим могильным холодом веет оттуда. Вверху светлый клочок неба становится все меньше и меньше. Кажется, навсегда прощаешься с солнцем, с зеленым привольем, со всем, что так дорого на земле. Скрипит ворот, руки крепче стискивают пеньковый канат. Сердце замирает от мысли, что можно сорваться вглубь этой зияющей тьмы.

Но вот бадья стучается о твердую почву.

— Отпускай канат! — слышится сверху.

Теперь надо пробираться по краю штольни. Кое-где рука нащупывает подхваты, сделанные из крепкого лиственничного дерева. Надо идти во мраке, ощупью. Сделаешь неверный шаг — прощайся с жизнью, тут то и дело попадаются ямы и не один в этой норе свернул себе шею. Стены холодные и влажные. Вода струится то в одном, то в другом месте. Скоро вся одежда становится мокрой. И вот здесь, в этой норе нужно работать. Глухо, жутко, даже собственный голос не узнаешь. Надо долбить породу, кайло то и дело отскакивает от камня. Жарка, а еще более душно. Кто-то высек огонь, засветил лучину. На миг озарились светом черные норы, заблестела вода под ногами, обозначились фигуры полуголых рудобоев. Но вот лучина зашипела, погасла, и снова все погрузилось во мрак.

Люди задыхаются. Хотя бы глоток свежего воздуха. В висках стучит, сердце бьется. Скорее бы, скорее выйти из этой кромешной тьмы на свет, на свежий воздух!

Но выйти нельзя. Долгие часы проходят в тяжелой работе. Тут и там слышатся глухие удары железа о камень, шум подземных вод и стоны невольников этого подземелья. Только поздно вечером опустится бадья, и друг за дружкой станут подниматься на белый свет рудничные. На некоторых из них звякают кандалы.

Горы опоясывают лощину; хмурые, поросшие дремучим лесом, они кажутся темно-зелеными, почти черными вблизи, а дальше за ними горбятся синие кряжи новых горных цепей. Ветер гонит тяжелые тучи. Солнце скупо освещает разрез, рыжие отвалы руды, шурфы, до краев налитые водой, речку, прячущуюся в кустах смородинника, черные фигуры каталей с тачками в руках, рабочую казарму и рудообжигательную горку. Не на чем отдохнуть глазу. За ослушание и возмущение Андрей был сослан сюда на Кленовский рудник и приставлен к тяжелой подземной работе.

Только самая крайность могла привести сюда человека. Сгоняли на рудник штрафованных за большие провинности, принимали же всех, не спрашивая паспортов. Бери кайло и полезай в бадью. Люди скоро становились похожими на тени. Изможденные, с землистыми лицами спускались они в шахту, а поднявшись оттуда, брели едва живые, чтобы съесть кусок хлеба и лечь на нары, забыться коротким сном.

Утром, чуть свет, сигнал на подъем, ругань смотрителя, за непослушание, за нерадивость — розги.

— Каторжные мы, — жаловались рудобои.

— Хуже каторжных! — отвечали им катели.

Работая на руднике, Андрей потерял счет дням. Они текли, томительно похожие один на другой. Вместе с другими рудничными вскакивал он с нар, наспех умывался и подходил к шахтному колодцу. Черная яма зияла, как разинутая пасть, готовая проглотить свою жертву.

Вместе с другими возвращался Андрей в казарму, ложился на жесткие нары и предавался горьким злым думам.

Прошлое снова и снова вставало перед глазами: лица и события проходили чередой, теснились в мозгу, бот князь Шаховской, владелец соляных промыслов, так жестоко распорядившийся его, Андрея, судьбой. Вот приказчик Калашников, усугубивший его тяжелое состояние черноработного еще более тяжким наказанием. Вот полицейские служители в треуголках, потащившие молодого паренька на съезжую, и воевода, которого Андрей хоть и не видел, но столько страшного слышал о нем. Все эти люди, столь различные по своему положению, сливались в одно лицо. Каким ненавистным оно было — это лицо палача!

Что могло быть у них, этих жестоких, кровожадных злодеев, человеческого?

И не святое ли дело — истреблять их, как волков, как змей ядовитых?

Не однажды пытался Андрей завести то с одним, то с другим из рудничных разговор об освобождении от неволи.

— Как освободишься? Караулы кругом, тын высокий. Не убежишь.

— Чтобы убежать, надо перебить стражу.

Рудничный только вздыхал в ответ.

— Да кто вы: люди или твари неразумные?

— Забитые мы до полусмерти, вот мы кто.

И верно: изнурительный труд и побои, вечный страх перед начальством довели этих несчастных до того, что они боялись и подумать о сопротивлении.

Андрей все же не бросил мысли о свободе.

Год провел он в исправительной казарме на хлебе и воде — и выжил. Чем дальше, тем больше укреплялась в нем мысль избавиться от неволи.

Помог случай.

Вечером, поздней осенью, когда сиверко прохватывал насквозь, а на застеклившиеся под заморозками лужи падали последние блеклые листья и алый закат разливался над гребнем гор, в казарму пригнали новую партию рабочих.

Они вошли шумной толпой, в старых азиях, в лаптях.

— Нет ли землячков? Есть камышловские?

— Нет ли кого шадринских?

— Ищи земляков на кладбище, — отозвался с нар глухой и сердитый голос. — Недолго дожидаться и вам.

— Что, разве жизнь шибко лиха?

— Отведай — узнаешь.

— Не то видели, не запугаешь и не таковские мы.

Это были сплошь участники крестьянских волнений в Камышловском и Шадринском уездах. Держались они дружными кучками, по волостям.

Андрей прислушивался и присматривался, но в казарме было темно. Несмотря на ранний час, наработавшиеся до усталости рудничные ложились спать. Возле растопленной печи пришедшие с работы сушили онучи.

Один из новичков подсел к ним, как старый знакомый.

— Что, братцы, приумолкли? Не вешайте голов, не унывайте. Распоследнее дело — унывать. Споем лучше кашу дедовскую.

Ты взойди-и, взойди, солнце красное...

чистым и звонким голосом затянул он старую волжскую песню.

Над горою ты взойди, над высокою...

— Будет тебе волков пугать! Кого там взяло? — раздалось со всех сторон.

— Нешто и петь здесь нельзя? Эх вы, пуганные!

Андрей подошел к печке и взглянул в лицо певцу. Что-то знакомое мелькнуло в этом худощавом седом человеке с сумасшедшинкой в глазах, во всем его гибком, как у ящерицы, теле.

— Блоха!

Это был он.

— Блоха! Родной мой! — Андрей схватил знакомца в объятия, стиснув его острые плечи своими сильными руками. Кругом ахали.

— Вот где земляки-то друг друга отыскивали!

— Мы больше, чем земляки, — сказал Блоха.

— Как ты попал сюда? — спросил Андрей.

— Взяли за то, что в Тамакульской волости мужиков на бунт подговаривал. Да мало ли чего не насажут.

И Блоха лукаво подмигнул.

Андрей в ту же ночь поделился с ним мыслями о восстании. Решено было разделить людей по десяткам и каждому десятку поручить свое дело: одним снимать с вышек караулы, другим обезоружить охрану в кордегардии, третьим — идти в контору.

Дул студеный ветер. Тучи, клубясь, вытянулись над горами в одну сплошную грядку. Закатные лучи ярко освещали их края, и казалось, будто там, за горами, тлеет зарево большого пожара и ветер несет все дальше и дальше обгаренный отсветом пламени дым.

Закусив чуть не до крови губы, поднялся в бадье Андрей.

— Ты пошто рано? Смена не кончилась, — сказал воротовой.

— Замолчи! — крикнул Андрей. — Там пятерых придавило.

К шахте сбегались рабочие. Штейгер-немец ругался.

— А, канайль! Русише швайн! Ленъ работает? Шифо на работ! Марш в шахта!

Между тем из черного устья шахты поднимались еще рабочие с бледными, безумными лицами.

— Обвал! Завалило еще троих...

Толпа волновалась. Катали побросали тачки, сгрудились. Блоха протискивался между людьми, уговаривал:

— Не ждите доброго от начальства. Спасайте свои шкуры. Сегодня восьмерых задавило, завтра, может, еще больше погибнет.

Андрей взял его за руку.

— Звони сполох.

Кто-то схватил штейгера за шиворот.

— Конец вашей власти!

Это явилось сигналом. Часть рудничных, похватав кайлы, кинулась к вышкам, другие бежали к кордегардии.

Бунт начался и вскоре охватил весь рудник. Закованные сбивали с себя кандалы. Тачки летели в устья шахт. Сигнальный колокол звонил без умолку.

В здании конторы рудничные спешно уничтожали списки рабочих и реестры. Солдаты, находившиеся в кордегардии, не могли выйти, потому что дверь была завалена бутовым камнем и бревнами.

— Наша взяла! — ликовал Андрей.

Но Блоха остудил его радость.

— Лучше давай поскорей смазывать пятки: смотритель успел угнать не то в Билимбай, не то в Ревду. Того и жди — солдаты нагрянут.

В тот же вечер они бежали с рудника. Рудничные громили провиантский магазейн. Наступала ненастная ночь. Шел снег вперемежку с дождем. Вдруг с одной из караульных вышек раздался истошный вопль:

— Солдаты!

Большой воинский отряд двигался по дороге на рудник.

В городе Екатеринбурге в самом центре стояли чуть не рядышком деревянная церкушка, построенная, говорят, еще при первой Екатерине, канцелярия Главного управления горными заводами, острог и суд.

Перспективная улица широка и пряма. Двигутся по ней обозы, груженные железом и медью, скачут курьеры с нарочным. Внизу у плотины был когда-то завод, теперь там монетный двор.

Растет город, столица горнозаводского Урала. С каждым годом все больше строится в нем домов. Много людей всякого звания проживает в Екатеринбурге, а больше всего — солдат.

В здании Горной канцелярии в зале с лепным потолком идет заседание. Члены Горной канцелярии слушают князя Вяземского, командира карательного отряда.

Он стоит, прямой и высокий, узколицый и тонкогубый, потомок одной из знатнейших и древнейших в России дворянских фамилий.

— Я полагаю, что причины возмущений приписных к заводам крестьян и работных людей, — говорит князь, — коренятся в небрежении, кое проявляется вами, господа.

Невозможно и недопустимо, дабы Исетская провинция, столь важная для нашего государства, пребывала в смутах и волнении. Все, что мог, я своим драгунским полком сделал для укрощения духа мятежа. Остальное зависит от вас, господа. Пожар нужно тушить вначале. Иначе... не потушить.

Члены Горной канцелярии внимали в благоговейном молчании. На князя смотрели как на спасителя. Еще недавно им казалось, что восстание скоро охватит весь Урал. Теперь же тюрьмы в Екатеринбурге и в уездных городах переполнены, мирские земские избы сожжены, зачинщики повешены, на площадях слобод и заводов выставлены колеса для четвертования, воздвигнуты виселицы и глаголи. Сотни людей отправлены в сибирские рудники. Мир и тишина снова воцарились в горнозаводском крае, в Исетской провинции.

...Выходя из канцелярии, Вяземский обратил внимание на большую толпу людей в лохмотьях, со связанными назади руками. Десяток драгун конвоировал арестованных. Их вели в острог.

— Кто такие? — спросил князь у офицера, ехавшего впереди.

— Бунтовщики с Кленовского рудника, ваша светлость.

Князь нахмурился и, ничего не сказав, сел в карету.

Андрей и Блоха решили укрыться в куренях под Ревдой. Это была затея Блохи.

— Я и чеботарь, и шорник, и коновал, — говорил он. — А где мы найдем работу и жительство, как не на куренях? Нас с тобой там на руках станут носить. Меж людей-то и сам человеком будешь.

Слова Блохи оправдались: в куренной избе отвели сапожникам угол, кормили даром, только работай. Работы оказалось много, притом спешной: кому хомут починить, кому седелку, кому узду сшить, а то и всю шлею. Наступала пора возить уголь. Блоха не слезал с сидухи, обшитой кожей. Шило так и мелькало в его костлявых и сильных пальцах. Андрей старался не отставать, помогая ему и на ходу учась шорному мастерству.

Блоха подмигивал лукавым глазом.

— Живем, Андрюха, до весны, а там, как вольные птицы, улетим на Волгу.

И он запевал свою любимую песню:

Ты взойди, взойди, солнце красное!

Андрей подтягивал, любуясь своим неунывающим другом.

Вечером приходили с работы жигари, кучеклады, дроворубы, топили печь, ужинали и слушали побаски Блохи.

Уже миновали сретенские морозы, веселей глянуло солнце. Проснулся, ожил лес, звонко стучали дятлы, какая-то пичуга чиликала на ближней сосне. С крыши свесились прозрачные ледяные веретена. Дроворубы уходили в лес довольные, не надо было надевать тяжелые тулупы и полушубки. Куренной староста сказал:

— Скоро по домам.

Наконец, подъехала смена. Назначенные в курени на время весны приписные крестьяне были озлоблены: ведь свое хозяйство приходилось оставлять в самую горячую пору. Зато отбывшие срок кабанщики ликовали. Куренной староста, прощаясь, сунул Блохе кошелек с деньгами.

— Бери, приятель. Мы со всей артели собрали в благодарность за ваши труды и подмогу. Спасибо вам, родные!

Блоха взял деньги.

— Пригодятся, — сказал он Андрею. — Айда и мы в путь-дорогу. Сказывают, на Чусовой, у Шайтанки, большой караван сбивают.

— Готов хоть сейчас, — обрадовался Андрей.

Сумрачные, сплошь заросшие лесами горы: Волчиха, Полынная, Березовая, Мокрая.

Таежная глухомань. Бродят по тайге волки, дикие козлы, сохатые. Глубоки закрытые тенью лога. Бегут по ним горные речки и ручьи, змеясь в кустах, сонно затихая в омутах, весело разливаясь по каменистому ложу на несколько рукавов, журча и сверкая. Непроходимые дебри сторожили глухие урочища, стиснутые между горными громадами. Первые насельники края башкиры боялись заходить в эти места, где недолго и заблудиться, где услышишь только протяжный вой голодной волчьей стаи да зловещее уханье филина, где, кажется, может обитать только нечистая сила. Недаром башкиры прозвали одно из таких гиблых урочищ Шайтан-лог.

Вот в этом-то логу на берегах Шайтанки и заложен был чугуноплавильный и железоделательный завод. Рудознатцы доносили, что местность богата рудами да и от Чусовой недалеко. Никита Демидов в честь сына Василия назвал завод Васильево-Шайтанским.

Широкая и высокая плотина перегородила течение Шайтанки, и лог наполнился водой, образовался большой пруд. У подножия плотины встали доменная фабрика, молотовая, кузница, пыльная мельница, и там, где лещачьим голосом ухал филин, зашумела вода в ларях, падая на колеса; подняли двадцатипудовые железные кулаки боевые и обжимочные молоты, завывли мехи, раздувая пламя в горнах. Люди в кожаных запонах, вачегах, в обуви на деревянных колодках привели в движение и колеса, и молоты. Потянулись подводы с рудой, с углем.

Подходя к Шайтанке, Андрей немало дивился суровой и дикой красоте этих мест. Двугорбая громада Волчихи мрачно серела на синеве неба, а дальше тянулись все новые и новые горные кряжи. Они вставали один за другим, и кажется, не было конца этому горному царству, напоминавшему застывшее на бегу каменное море.

— Мы с тобой остановимся в Талице у Пахома Балдина, — сказал Блоха.

— У тебя и здесь знакомцы?

— Поброди-ка с мое, так в лесу каждого волка будешь по имени знать.

Добрались и до Талицы. Деревня стояла на низком месте, на берегу незамерзающего ручья, верстах в пяти от завода. Десяток рубленых из добротного кондового леса изб был поставлен однорядком. Блоха подошел к самой высокой избе с коньком и шатровым крыльцом, постучал в ставню. Слуховое окошко приоткрылось, и женский голос спросил:

— Кого надобно?

— Пусти, Михайловна. Люди мы знаемые и тебе и твоему хозяину.

Женщина лет сорока, приоткрыв калитку, подозрительно оглядела путников, но тут же лицо ее прояснилось.

— Это ты, Блоха? Давненько не бывал в наших краях.

— А пути не было. Дома Пахом?

— На угольном дворе. Скоро будет.

— Приехали наниматься на сплав. Как у вас нынче? Нужны работники?

— Наймуются... Да вы проходите в избу.

В избе было темновато, но опрятно, видать, хозяйка часто скоблила и мыла свое жилье.

— Ужо я к соседке сбегая за капустой, — сказала она и вышла.

Блоха стаскивал с себя зипунишко.

— Аксиныя-то ведь от живого мужа выдана за Пахома.

— Как так? — удивился Андрей.

— По барскому приказу. Первого мужа барин в рекруты сдал, а Пахому велел на Аксиныне жениться.

— Ну, и дела!

— Да, брат, по заводам и не такое еще творится.

Вернулась хозяйка с туеском соленой капусты.

— Правда, что вас Демидов другому владельцу отдал?

— Правда, батюшка. Наши господа теперь купцы гороховские — Ширяевы. Завод-то наш, бают, подарил им Демидов за то, что на ихней сестре женился. Сколько-то пожил с ней

и то ли он ее бил, то ли она ему супротивничала, только ушла она от Демидова. Слышь, воротил он ее, да ненадолго, опять сбежала. Ну, это не наше дело, господское. Их грех — их ответ.

— А каково живется с новым господином?

Аксинья тяжело вздохнула.

— Сами дивимся, как еще до сих пор живы. Ох, и лют Ефим Алексеевич, ох, и лют.

— Ну, где они, господа-то, не люты? Это исстари повелось: что ни барин, то зверь.

— Да наш-то, слышь ты, на особицу... Поешьте капустки, а я тем часом печь затоплю.

— От капустки мы не откажемся, а топить для нас не надо: мы не баре — и в холоде ночуем. Нас никакая стужа не возьмет, ежели тулупом накроемся.

Скоро приехал хозяин, крепко сколоченный, с могучим красным затылком мастеровой. По размеренным неторопливым движениям можно было судить, что Пахом Ильич характера спокойного.

— Здорово, Блоха! — сказал он. — С чем прибыл? Что нового по заводам? Как жите?

— Везде одинаково: в нашем краю, как у бога в раю, калины да рябины не приешь и половины.

— Тебе все шутки, а вот нам, приписным, надо с оглядкой жить.

— Слыхал уж я, что попали вы к супостату.

— Не говори!.. Возле смерти каждый день ходим... Аксинья! Накормила гостей?

— Накормила, чем бог послал.

Утром рано хозяин пошел на работу, а Блоха с приятелем — разведать насчет сплава.

Из-за косматой вершины горы выглядывало солнце, но в долине еще лежал сумрак, было студено и влажно. Пахом проводил своих постояльцев до завода.

Тут перед ними, точно из-под земли, выросли закопченные корпуса молотовой и доменной фабрик. На угоре стояли каменные здания конторы и господский дом, окруженный садом. По лощине к фабрикам шли и ехали работные люди. На всем лежала чернота: от угля и сажы была черна дорога, черны заводские строения, черны лица работников.

Подходя к конторе, Андрей заметил человека в рабочей одежде, на шее у него был заклепан железный обруч, а на груди, привязанная к этому ошейнику, висела гиря.

— Что такое? — спросил Андрей.

Блоха мрачно усмехнулся.

— Называется «матрену» повесили. Это еще что: гляди, тот вон идет и колоду за собой волокет, а тому вон, как козлу, рогульку с батоном на шею надели. Всяко декуются над людьми.

Угрюмые, молчаливые брели рабочие в худых, рваных армяках и чекменях. Глухо постукивали о каменистую дорогу деревянные баклуши на ногах.

В конторе Блоха и Андрей застали самого владельца завода Ефима Ширяева. Это был плотный лет пятидесяти мужчина с бритым розовым лицом, с глазами, отливающими влажным блеском.

— С чем пожаловали? — спросил он.

— На сплав наймовать пришли.

— Добро. Документы есть?

— Есть.

— Запиши их, Иван, — распорядился барин и вышел из конторы.

Писчик, молодой человек одних лет с Андреем, любезно спросил приятелей, как у них с харчами. Ведь ждать придется недели полторы, пока сколотят караван. Блоха тотчас же стал выговаривать побольше «пропитала».

Писчик улыбался.

— Ты, отец, у нашего хозяина много не выторгуешь. Хорошо, ежели за путину заплатит рубль при своих харчах, а то и того не получишь.

— Видать, он у вас чугуна подворотня.

Молодой человек промолчал.

— Сегодня он никак навеселе? — не унимался Блоха.
— Сестра ихняя приехала — Софья Алексеевна.
— Это которая за Никиту Никитича Демидова выходила замуж?
— Та самая. Выходила и уходила. Теперь снова ушла.
В контору впорхнула барынька в кринолине, напудренная, с мушкой на белой щеке.
— Иван! Куда ушел Ефим Алексеевич?
Писчик почтительно поклонился.
— Не могу знать-с.
— Скажешь ему, что я поехала в город.
Барынька прошумела накрахмаленным платьем и скрылась.
— Жена? — спросил Блоха.
— Любовница, — ответил Иван.

Бежит барка по Чусовой, бежит мимо серых, источенных ветрами, крутых, будто срезанных, скал, мимо хмурых еловых лесов. Бежит мимо редких деревень, мимо разбитых коломенок и расшив, оголенных, как скелеты с торчащими ребрами.

Играет Чусовая. Мутная вода бурлит и пенится у крутояров, зажата между скал, как между двух каменных стен, и вдруг вырывается на широкий плес, на луговой простор, разливаясь далеко и привольно. И снова, извиваясь, уходит то вправо, то влево, и опять то справа, то слева поднимаются серые неприступные утесы, с черной гривой леса, и тень от них сумрачно падает на волны. Издали слышится, как ревут волны, взбегая на камни, и, разбившись в брызги и пену, падают, чтобы снова набрать силу и с бешеным ревом броситься на приступ.

Андрея и Блоху поставили к носовым веслам. Работа тяжелая, некогда любоваться Чусовой. Только, знай, слушай команду лоцмана. Плынут они на передней барке. Здесь отобраны самые опытные сплавщики, самые сильные. Блоху было забраковали, но он все-таки сумел заверить:

— Вы не смотрите, что я тощий. Сила-то ведь не в мясе, а в костях, да и не первый год на сплаве. Не бракуйте меня, каяться будете, что не взяли.

Караванный, свиреповидный, мордастый, заржал на весь плес:

— Ну, ино, будь по-твоему. Возьму, а уж там сам на себя пеняй.

Несмотря на тяжесть работы, Андрей отдыхал душой. Мускулы наливались железом, все тело становилось упругим и сильным. Эта дикая горная река, грозно катившая свои мутные волны и готовая бросить барку на утес, как щепку, приводила его в радостное волнение. Ему нравилась эта неукротимая сила, бушевавшая без конца и края в каменных теснинах.

Барка, груженная штыковым железом, глубоко сидела в воде, яростная струя несла ее легко и быстро, как будто это была какая-нибудь утлая лодчонка. Караванный с беспокойством вглядывался в приближавшиеся утесы. Лоцман стоял рядом, насторожившийся и суровый.

— Как бы нам Разбойник благополучно миновать.

Впереди виднелась каменная громада. Еще издали слышался гул воды. Он становился все сильнее и сильнее, наконец перешел в сплошной оглушительный рев.

Андрей, налегая всей грудью на весло, видел, как стоявший против него Блоха посерел от страха.

— Господи, спаси! Пресвятая владычица... Ты, мать твою, чего зубы скалишь? — вдруг осердился он на Андрея.

— Наддай, соколики! — кричал лоцман.

— По чарке водки на рыло! — орал караванный, стараясь перекрыть рев воды.

Сплавщики работали поносными изо всех сил. Все понимали, что решается судьба каждого из них, что через несколько минут все может быть кончено: барка ударится о скалу, в бурлящей пене закружатся люди, доски, куски железа. Все почувствовали близкую гибель.

Черной тенью пронесся остросеребряный утес Разбойник, и люди вздохнули полной грудью. Иные, сняв шапки, крестились. Караванный распорядился выдать всем водки. За передней баркой благополучно миновали страшное место вторая и третья. Весь караван выплыл на стрежень. Солнце выглянуло из-за туч, брызнуло на волны, на просмоленные борта коломенки, на усталые, но радостные лица сплавщиков. Выпив по чарке, люди совсем повеселели.

— По Каме плыть — одна любота, не то что здесь.

— Хватишь еще горького до слез.

— Да все не так, как на Чусовой.

— Эх, хоть бы в деревню отпустили!

— Думаешь, не отпустят?

— Еще путину заставят ломать, а там на завод пошлют.

«Ну, мы-то здесь не останемся», — подумал Андрей. Они с Блохой решили уйти в Лаишеве совсем.

...Ранним утром показались из-за мыса городские колокольни, а вскоре стало видать и флаги на мачтах. Барки стояли у причалов, и было уже их немало. Различались караваны по цвету раскраски носов.

— Гляди, робя, черноносые, наши ревдинские!

— А эти с зеленым?

— Не знаю, кажись, турчаниновские.

— Вон уткинские красноносые подплывают.

Ширьевские барки плыли с желтыми носами.

Несмотря на ранний час, на берегу работа кипела вовсю. По сходням катили тачки с чугуном и железом, со слитками меди. Возле складов ржали лошади, здесь шла разгрузка, железо везли гужом.

Стали причаливать и шайтанские. Караванного окружили бурлаки.

— Ваше степенство, нельзя ли хоть в город сбегать, поесть, попить?

— Денег бы получить с вашей милости.

— Дай вам деньги — сбежите.

— Не сбежим, ваша милость. Ублаготвори.

— Не дам денег — вот и весь сказ... Становись на разгрузку!

— Кляп тебе в глотку, вонючий боров, — вполголоса сказал Блоха.

Когда кинули сходни, он и Андрей первыми сбежали на берег.

— Куда, куда? — кричал караванный, но приятелей и след простыл.

Блоха и Андрей шагали по песчаным улицам Лаишева прямо в сердце «железного города» — на базарную площадь. Оттуда уже доносился многоголосый шум. Город праздновал прибытие первых весенних караванов.

Дома и домишки тонули в белой кипени садов. По всей улице тянуло горьковато-сладким ароматом черемухи. Вспомнилось Андрею детство, и стало грустно. Как птенец, выпавший из родного гнезда, скитался он по рудникам и заводам, одинокий, никому не нужный, без семьи, без пристанища, без настоящей по сердцу работы.

— Что же теперь будем делать, Блоха? — спросил он товарища.

— Были бы руки — дело найдется, — философски заметил тот. — Сперва надо поесть.

Не одни они шли на площадь. Брели под присмотром десятников согнанные из вятских деревень, с Можги и Кильмезя, крестьяне-вотяки. На их испитых лицах застыла тупая покорность. Шли пермяки с соляного каравана. Много работников требовал «железный город». Можно было услышать здесь и гортанный говор татар, и певучую речь мордвы, и окающую волжскую молвь. В центре города разместились конторы, где писцы с утра до вечера скрипели перьями, переписывая договоры, накладные, документы по купле и продаже. С утра до вечера возле этих контор толпились жалкие, оборванные люди, которых нужда или плетъ надзирателя пригнали сюда с верховьев Камы, с Белой, из-под Чистополя и Казани. Много было среди них барских крестьян, запроданных помещиками на время сплава.

То и дело по улицам Лаишева проносились коляски с сидящими в них приказчиками, управителями, доверенными, караванными, а то и с самими хозяевами. Завидя такой экипаж, встречные снимали шляпы и низко кланялись.

Показалась площадь. Народу на ней было полным-полно. В золотистом свете утра торговые ряды выглядели пестро и заманчиво: с прилавков свешивались мокрые жгуты лукового пера, румяные слободские мешанки вынимали из кадушек моченые яблоки. Тут же продавали горячий сбитень, брагу-бесхмелицу, травник в стеклянных сулеях. Широкими оранжевыми пластами лежала нельма, протягивали острые носы стерлядки. Свежая рыба трепыхалась в садках. Рыбный запах смешивался с запахом жареного мяса.

— Пирожков кому горячих? С пылу, с жару!

— Пряжеников кому?

— Растегаев с рыбой пожалуйста!

— Пряники расписные!

Камские и волжские бурлаки в лохмотьях косились на все это съестное изобилие и шли к обжорному ряду, где за полушку можно было взять поземину с пшеном, съесть ломоть ржаного хлеба и выпить ковшик квасу. То же сделали Андрей и Блоха.

Долго толкались они в толпе прикамского люда. Кого тут только не было: богатыри-грузчики в серых изгребных рубахах, в широких штанах, крестьяне-возчики в чекменях со следами ржавчины, мастеровые, которых сразу можно было узнать по красным пятнам на скулах и подбородке, по войлочным шляпам, нищие и калеки в рубищах. Были здесь люди и почище одетые: монахи, выпрашивавшие на построение храма, приказные в потертых мундирах — служители торговых контор и магистрата, караванные с пристаней камских и чусовских. Эти носили суконные кафтаны с галунами и позументами. Точно цветы в поле, ярко пестрели женские платки, кокошники и сарафаны. Площадь гудела многоголоса, как разыгравшаяся в половодье река.

— Надо подумать и о том, где причалить, — молвил Блоха. — Поспрошаем добрых людей о работе, чтобы ни легко, ни тяжело, а в самую пору пришлось.

Однако сколько они ни спрашивали, а такой работы как раз и не находилось. Требовались бурлаки, но Блоха решительно отказался надевать лямку.

— Четыре путины прошагал от Рыбной слободы вплоть до Нового Усолья. Хватит с меня этой мокрой работы.

Андрей решил не отставать от товарища.

Солнце уже начало клониться на закат. Пора было подумать об ужине и о ночлеге. Базар стал расходиться. Приятели пошли на берег. Полюбовались на суда, стоявшие на реке: на широкогрудые беляны, на огромные баржи-«сороковуши», на длинные ладьи. Над некоторыми трепыхались на мачтах флаги и белые крылья парусов. Тут и там сновали легкие и быстрые косные лодки.

У бурлака, сидевшего на берегу и беспечно курившего трубку, друзья спросили, не знает ли он где-нибудь поблизости избу для ночлега. Бурлак хитровато прищурил глаз и ответил:

— Есть такой дом и не так чтобы далеко. Вон за тем мысочком. Спросите там кривого Мартына. Его знают.

Идти пришлось довольно долго. Дом кривого Мартына оказался не очень казистым, нижний этаж его врос в землю. Дверь в этот полуподвал была открыта, и из помещения доносились оживленные голоса.

— Тут, видно, жильцов-то и без нас хватает, — сказал Блоха и вошел в комнату.

— Мир на стану! Будьте здоровы, добрые люди!

Из полумрака кто-то ответил:

— Здорово, коли сам добрый.

— Где хозяин?

Как из-под земли выросла хмурая фигура самого Мартына с одним глазом, серьгой в ухе, с головой, повязанной грязной тряпкой.

— Что нужно?
— Пусти переночевать.
В подвале послышался смех.
— Будет вам ночлег такой, что и не проснетесь.
— Цыц, вы! — сказал хозяин. — Как ты, Иван, полагаешь, пускать или не пускать?
На свет вышел мужчина лет тридцати, с смуглым злым лицом. Он ошупал приятелей недружелюбным взглядом черных, как угли, глаз.
— Кто такие?
— Сплавщики с каравана.
— Что ж не на барках ночуете?
— Ушли с барки.
— А не подосланы вы от управы благочиния?
Андрей вспыхнул:
— Кто вы, чтобы нам допрос чинить?
— Сейчас узнаешь. Связать их!
Несколько человек бросились к друзьям. Началась свалка. Андрей отшвырнул напавших на него, как щенят, и поспешил на выручку к Блохе, но тут же почувствовал удар чем-то тяжелым в ухо и, застонав от боли, повалился. Обоим скрутили руки за спиной. Черноглазый, по-видимому, главарь шайки, злобно усмехнулся.
— Узнал теперь, рачий глаз, с кем дело имеешь? Надо с ними кончать, Мартын.
Блоха закричал:
— Что вы! Сдурели? Мы ведь люди черного звания... От злого начальства спасаемся.
Тут один из сидевших за столом и не принимавший никакого участия в схватке поднялся и живо спросил:
— Блоха?
— Он самый.
— А я Чебак. Вот где встретились.
— Ты что, знаешь его? — спросил черноглазый.
— Да как же! Сколько вместе зимогорили да в остроге вшей кормили. Дружба наша старинная.
— Поглядим. Развяжите их, — распорядился атаман. — А вы рассказывайте про себя все по порядку да не врите.
Приятели начали исповедываться, почему и как они попали в столь тяжкие обстоятельства. Жизнь обоих вызвала общее сочувствие.
— С этого бы и начали, дурни, — сказал атаман.
— Прими их, Иван, в свою команду, — упрашивал Чебак. — Ребята добрые.
— Принять, пожалуй, можно, только с уговором: все пополам и друг за друга стоять неотступно. За трусость, за измену — смерть. Мы — вольные люди и меж собой названные братья.
Через пару часов оба приятеля в компании вольных людей под предводительством атамана Ивана Прибытова плыли на косной лодке к Пьяному бору.
Кровавое сияние зари, догорая, плескалось на волнах.

ГЛАВА ПЯТАЯ

*Как по утренней заре вдоль по Каме, по реке,
Вдоль по Каме, по реке легка лодочка плывет,
А в лодочке гребцов ровно двести молодцов.*
Песня

Недалеко от Пьяного бора, между гор, в ложине, затененной пихтачом, вольные люди устроили привал. Место было дикое, потайное, полянка в лесу небольшая, даже трава здесь

плохо росла. Меж кустов тальника светилась Кама. Откуда-то из болотной мочежины доносился сладковатый запах багульника.

На полянке догорал костер, и угли в нем постепенно розовели, покрываясь седым пеплом. Андрей сидел и задумчиво глядел то на погасающий костер, то на лица своих новых товарищей.

Кто они, эти люди? У каждого какая-то своя ломаная судьба. На ковре, растянувшись во весь рост, спит атаман Иван Прибытов. У него тяжелое грубое лицо с вывороченными ноздрями. Во сне приоткрыл рот и оскалил зубы, как будто злобно смеется. Не понравился Андрею этот человек с первой встречи. Узнал он о нем только то, что раньше Иван работал на Егошихинском заводе, что атаманит он всего второй год, но уже за поимку его кунгурский воевода обещал пятьдесят червонцев, что сами разбойники побаиваются и не любят его.

Вокруг костра сидят другие члены шайки. Все они называют друг друга не именами, а кличками. Андрею дали прозвище Рыжанко. Вон Косая Пешня — рябой, узколицый мужик, молчаливый и угрюмый; рядом с ним покуривает трубку молодой паренек из Сайгатки, по прозвищу Кулик, так его прозвали за длинные ноги. Глаза у Кулика юношески чистые, но ранние морщины, прорезавшие лицо, говорят о тяжелом пережитом. В стороне с азартом играют в карты Юла, Шкворень, Заячья Губа и Чиж. Все это парни лет двадцати пяти, в самом цвете сил, здоровые, крепкие люди. Все они бежали с рудников и заводов, и теперь вынужденное бездействие тяготит их.

— Скоро ли уж вылезем из этой мурьи? — со вздохом говорит Чиж, чернявый бойкий малый.

— Послушаем, что соглядатаи принесут, — отвечает Шкворень, коренастый большеголовый детина, — Крой, Юла!

Блоха, Чебак и еще трое уехали на разведку в Елабугу. С чем они воротятся — неизвестно, а может быть, и совсем не вернуться. Андрей просил отпустить его вместе с другом, но атаман приказал остаться. Пришлось покориться. Первый раз Андрей почувствовал, что злая воля этого человека тягостна ему, и пожалел о вступлении в шайку.

Солнце пряталось за горы. Прохладней и длинней ложились тени. На берегу караулил лодки Трехпалый, большой взлохмаченный парень. Был он из приписных с какой-то дальней волости. Все сотоварищи казались Андрею необычными, озлобленными на жизнь, на людей. Неохотно рассказывали о себе, о своем прошлом.

Глядя на них, Андрей не один раз спрашивал себя: как могло случиться, что он связал свою судьбу с их крошечной судьбой? Единственно отрадное в этой жизни, сулившей опасности и смерть под кнутом палача или от солдатской пули, заключалось в вольной волюшке.

С первого же раза не поладил Андрей с атаманом.

Когда трое разведчиков доложили, что усадьба господина Красильникова недалеко от Елабуги, большая и богатая, атаман так и загорелся.

— Богатая, говорите? А дворни много?

— Богато и дворни.

— Дворню перебьем. Главное, чтобы с налету взять.

— За что же дворню-то, атаман? — спросил Косая Пешня, исподлобья глядя на Прибытова.

— Только и живем, что разбоем, — поддержал Чебак.

— А я так полагаю, — сказал Андрей, — господское добро раздать дворовым.

— Вишь ты какой добрый!

— Он в святые метит, — подковырнул Юла.

— Я не святой, а бедных людей обижать не хочу.

Набег был кровавый. Красильникова с сыном Прибытов застрелил собственноручно, имущество разграбили, но дворовые не получили ничего. Разбойники на нескольких

подводах вывезли барское добро. После дувана начался кутеж.

— Волчий праздник, — сказал Андрей.

Вдругорядь поссорились они в селе Тихие горы. Здесь Прибытов грабил поповский дом. Андрей не участвовал в набеге, но тоже был в селе. У ворот дома стоял на карауле Блоха.

— Гляди-ка, что Иван-то вытворяет. Пытает попа.

— За что?

— Спроси.

Андрей зашел в избу. В ней было дымно, пахло горелым мясом. Под матицей посреди комнаты над горящими вениками висел старик. Он стонал и корчился от боли. Прибытов свирепо глядел на него.

— Не скажешь, где деньги, — до смерти замучу.

— Все отдал. Больше ничего нет, — прохрипел тот.

— Мало.

Андрею стало жаль старика и противно было глядеть на такое мучительство.

— Отпусти его, Иван.

Прибытов поглядел волком.

— Я здесь хозяин.

— Над чужой жизнью ты не хозяин. Бей того, кто противится, а беззащитного нечего мучить. Злодейство это.

— Молчать!

— Я тебе говорю, оставь старика.

Атаман выхватил из-за пояса пистолет, Андрей вытащил свой. Оба стояли друг против друга, полные бешеной ненависти. Разбойники бросились их разнимать.

— Опомнитесь!

— На кого руку поднимаете? Брат на брата!

Старика отвязали, он упал на пол. Атаман молча вышел из дома. По улице брели пастух с подпаском. Пастух трубил в берестяную трубу, и она издавала дикие, заунывные звуки. Начинаясь обычный трудовой день. Мычали коровы, и горластые петухи, заливаясь во всю мочь, заводили утреннюю переключку. Собака лаем провожала разбойников. Прибытов разрядил в нее пистолет.

— Душегуб! — бросил ему Андрей, тот злобно усмехнулся.

Прошло, должно быть, не больше месяца жизни в разбойничьем отряде, а уж Андрею захотелось покончить с ней. Он испытывал недовольство собой и товарищами.

Те же чувства владели и Блохой. Он перестал даже напевать и насвистывать любимую песню и все чаще стал заглядываться на другой берег, за Каму. Подолгу сидел на откосе и покуривал трубку, сердито сплевывая. За этим как-то и застал Андрей старого бродягу.

— Далеко ли хочешь прыгнуть, Блоха?

— Чего зубы скалишь? Самому, небось, тошно?

— До того тошно, что вот-вот сбегу.

— Да, брат Рыжанко, залетели мы с тобой не в ту стаю. Ребята-то здесь ничего, да начальник такой варнак, каких свет не родил...

— Они слушаются его.

— Ну, знаешь, куда голова, туда и ноги.

— Да, Блоха, не о том я думал, когда соглашался идти с ними. Думал, бедным будем защитой, начальству — грозой, а тут одни грабежи да насилие.

— При таком деле, конечно, святым не будешь, но этот черт... он родную мать убьет и за грех не почтет... Кончить надо его, Рыжанко, либо самим отсюда убираться, — неожиданно заключил Блоха и, набив табаком трубку, выжидающе посмотрел на Андрея. Тот молчал.

— О чем думаешь?

— Думаю, что добьюсь своего.

Чем дольше жил Андрей в шайке, тем больше приходил к мысли о том, что идет он не по правильному пути, что за правильный надо драться.

За шайкой гонялись воинские отряды, но разбойники были неуловимы. Почти все они выросли на берегах Камы и отлично знали местность. На двух косных лодках носились они вверх и вниз по реке, останавливаясь в тихих заводях или у крутояров, в тени кустов тальника.

В середине лета совершили набег на село Полянки. Здесь жила барыня Красильникова.

Варвара Сергеевна была еще не старая женщина, полная, белолицая, с замашками настоящей помещицы. Деньги у ней сохранились, и она не отказывала себе ни в чем. Дом был строен на городскую ногу: с мезонином, с оранжереей, с фонтаном в саду.

Вот сюда-то и нагрянула шайка атамана Прибытова.

Рослая пригожая деваха встретила разбойников в воротах. У ней были серые глаза с черными ресницами, широковатый, чуть вздернутый нос, маленький свежий рот и толстая русая коса.

— Как тебя зовут, красавица? — спросил атаман.

— Дуня.

— Вот, Дуняша, дело-то какое. Поди скажи своей госпоже: гости, мол, с Волги-матушки прибыли. Пусть сама пожалует встретить, да угощенье чтобы было по чести.

Девушка изменилась в лице и, сверкая босыми ногами, побежала доложить о непрошенных гостях.

Красильникова, встревоженная, вышла на крыльцо. Прибытов насмешливо церемонно раскланялся с ней.

— Побывали мы в гостях у вашего мужа, теперь вот и к вам приехали. Извиняйте за беспокойство.

Женщина, обморочно побелев, с ужасом глянула на убийцу мужа и сына. Она не знала, что делать, и стояла бледная, с дрожащими губами.

— Веди, барыня, в покои. Чествуй дорогих гостей.

Прибытов издевался. Ему было приятно внушать страх. Андрей не первый раз замечал это и все больше приходил к мысли, что атаман — негодяй.

Двери распахнулись, и разбойники прошли в комнату, где стоял длинный, накрытый белой скатертью стол.

Атаман важно сел в передний угол.

— Садись и ты, барыня, и пускай твои девушки тоже садятся с нами. Мы люди веселые, простые. Любим попеть, попить, погулять.

Дуняша и три ее подруги стали прислуживать. Стол уставили яствами. Разбойники расположились за ним, подливали вино и хозяйке и девушкам. Те боялись перечить. Атаман, усмехаясь, пристально и жадно поглядывал на Дуняшу.

— А ну, красавицы, спойте нам веселую... И ты, барыня, пой.

Девушки запели величальную, пела с ними и госпожа Красильникова. Андрей, стиснув зубы, наблюдал за пиршеством. Ему хотелось швырнуть в лицо Прибытову тяжелый кубок. Ненависть кипела в нем.

Шел милый дорожкой, дорожкой столбовой,
А я за ним, девка, следочком бегу.
Бегу, бегу, девка, голосом кричу.
Голоса не слышно — платочком машу, —

пели девушки не очень складно, с испугом поглядывая на незваных гостей. Атаман встал и махнул рукой: все поняли этот знак и направились во внутренние покои искать денег и драгоценностей. Андрей, как обычно, ничего себе не брал.

— Праведником хочешь быть, — говорил ему Юла. — В рай нас с таким ремеслом

все одно не пустят.

Он подмигнул.

— Гляди, Рыжанко, атаман-то никак девку поволок.

Андрей выскочил на двор и увидел, что Прибытов тащит в амбар Дуняшу. Девушка отбивалась изо всех сил и разорвала у атамана ворот рубахи.

— Оставь ее! — крикнул Андрей, отбросив Прибытова. — Ты что задумал?

— Не твое дело, — отвечал тот сквозь зубы и потянулся за пистолетом.

— Не мое дело, а наше!

Разбойники начали сходитьсь на крик. Подошли Косая Пешня, Блоха, Трехпалый, Чиж, Чебак и Шкворень. Стали расспрашивать, что случилось.

— Да вот девку хотел опозорить.

— Нехорошо, Иван, — осудил Шкворень.

— На нас за такие дела весь народ обиду будет иметь, — сказал Блоха. — Разве можно такое?

— Эх, атаман, атаман, — укоризненно покачал головой Чебак. — Еще кабы барского помету была девка, а то ведь своя сестра, крепостная!

— Пошел вон!

— Нет, мы этого так не оставим.

Прибытов глянул волком.

— Что же, судить меня задумали?

— Судить и будем, — строго сказал Андрей, заряжая пистолет.

— Кончай его, Рыжанко! — крикнул Блоха.

— Ах, вот вы как! Ну, я вам не дам, рачий глаз...

Он не договорил: Андрей выстрелил ему в лоб. Прибытов сделал судорожный шаг вперед и ткнулся ничком.

Это так быстро произошло, что разбойники не успели опомниться и растерянно смотрели на Андрея, на дымящийся пистолет в его руке, на распростертое тело своего атамана.

— Ладно ты его, — проговорил Чебак.

— А теперь что? Без головы остались, — недовольно сказал Чиж.

— Атамана выбирать надо. Нельзя без атамана, — выкрикнул Юла. — Пускай Чиж будет атаманом.

— Нет, Юла, — ответил Чиж.

— Знаем мы вас, дружков, — усмехнулся Косая Пешня. — Вздернуть на осину — ни который не перетянет.

Поднялась разноголосица.

— Пускай Шкворень атаманит.

— Юла!

— Чиж!

— Юла!

Тогда раздался звонкий тенорок Блохи.

— Пусть Рыжанко будет атаманом. Он творил суд над Прибытовым — ему и власть.

Опять поднялся галдеж. Особенное недовольство выражали Юла и Чиж. Но Блоху поддержали Косая Пешня, Чебак, Шкворень, Заячья Губа — старшие по годам члены шайки, и Андрей стал атаманом.

— Похороните его, — распорядился он, кивнув на труп Прибытова.

Ничего не взял новый атаман в усадьбе.

— Видал, какого змея на шею посадили, — шептал Чиж Юле...

В последнюю минуту подошла Дуняша.

— Возьмите меня с собой.

— Куда же мы тебя, дурочка, возьмем? Ведь нам во всяких переделках доведется бывать.

— Не боюсь ничего, только бы с вами.

— Нет, Дуняша, оставайся...

Андрей уже сидел в лодке, а Дуняша по-прежнему стояла на берегу. Враз поднялись и опустились весла. Напряглись мускулы и, разрезая речную гладь, лодка птицей метнулась вперед. Девушка шла по берегу и прощально махала платком.

На Кленовском руднике рабочий день начинался рано, по Кичигам — часа в четыре утра.

Тяжелым сном спала казарма: рудничные вздрагивали во сне, храп прерывали стоны, всхлипывания. Люди и ночью не отдыхали, переживая дневные муки. Больные тихо стонали — до аптеки было не меньше ста верст. Оставалось одно — умирать.

В эту душную летнюю ночь старший по казарме проснулся, как обычно, в положенный час, ожидая, что ударят в колокол, висевший возле рудничной конторы. Вот-вот послышатся знакомые звуки, и он крикнет:

«В добрый час, во святое времечко! На работу, детушки!»

И с нар, звеня цепями, поднимутся десятки людей. Они торопливо съедят по ломтю ржаного хлеба, круто посыпанного солью, и пойдут выполнять ненавистный урок.

Долго ждал старший сигнала к работе, да так и не дождался.

«Что за притча?» — подумал он и вышел из казармы. Край неба над горой уже светлел. Старший пошел к конторе. Возле нее стояло несколько человек с ружьями, такие же вооруженные сторожили кордегардию, где жила рудничная охрана.

— Скоро ли бить-то будут? — робко спросил старший у одного из вооруженных.

Тот оскалил белые зубы.

— Скоро будут бить ваших начальников.

Старший оторопел. Он еще больше изумился, когда увидел, как из конторы вышли в одном исподнем белье смотритель рудника и штейгер. За ними с пистолетами в руках шел незнакомый кудрявый детина, рядом с ним бородатый тощий мужик с саблей наголо.

— Собирайте к конторе рудничных!

Старший прибежал в казарму и не своим голосом завопил:

— Айда к конторе! Невиданные дела творятся.

— Что случилось, Кузьмич?

— Сам не знаю, что. Ступайте скорей.

Вскоре возле конторы сгрудилась толпа рабочих.

— Братья! — обратился к ним кудряш. — Сам я когда-то выматывал последние силы здесь, на рудничной работе. Я знаю, как вы страждете. Теперь вашим мукам пришел конец. Кто хочет, идите в родные места, кто не хочет, оставайтесь здесь. Начальство ваше — вот оно. Судите его сами. Доброе было — пусть живет, худое — казним.

— Казнить! Казнить! — заревела толпа.

— Таких кровопийцев земля не примет.

— На виселицу их!

К смотрителю и штейгеру протянулись десятки рук. Истощенные непосильным трудом и голодом люди точно враз обрели силу.

Часть рудничных с криками окружила караульную, где засели стражники.

— Сдавайтесь, шкуродеры!

Из окна вырвался огненный язычок, грянул выстрел, в толпе послышался стон и вслед за ним яростный вопль.

Атаман подошел к казарме.

— Бросайте ружья или сожжем вас.

Это подействовало.

— А убивать не будете?

— Получите, что заслужили. Народ вас судить будет.

В казарме наступило молчание.

— Тащите, братцы, соломы!

В окно протянулась длинная тяжелая фузья и брякнулась оземь.

— Ну, Блоха, — сказал атаман, обращаясь к своему неразлучному спутнику, — доброе мы дело сотворили, пора уходить, пока воинскую команду не выслали...

— Неплохо бы нам охотников здесь набрать, — предложил Блоха.

— И то верно.

— Кто с нами желает по вольной воле жить, злых господ кистенем глушить, подходи и товарища с собой веди! — звонко выкрикивал Блоха.

Подошло человек двадцать. Из них Блоха отобрал шестерых, более крепких и молодых.

— Нам лечиться негде и некогда.

Привел их к атаману. Тот поглядел и головой покачал.

— Да ты ладом смотри. Чем не богатыри?

— Уж больно тощи: кожа да кости.

— Были бы кости — мясо нарастет. Главное, чтобы сердце было ярое. Верно, ребята?

— Верно, верно, — загалдели все шестеро. — Возьми нас, атаман, не покаешься.

— Ну, уж так и быть — возьму.

Рудничные обрадовались и разобрали брошенные стражниками ружья.

Стражники, вышедшие из казармы, угрюмо ожидали решения своей участи и тоскливо поглядывали на ближнюю сосну, на сучьях которой в предсмертных судорогах извивались тела смотрителя и штейгера.

На Аят-Уфимский завод брели бесконечными дорогами, глотая пыль, тридцать семей. Шли они не своей волей, четверо стражников с приставом во главе сопровождали «переведенцев» до места назначения.

Впереди шли самые выносливые, в конце двигались подводы с больными и престарелыми, с домашним скарбом и провизией.

Пристав, почерневший от дорожной пыли, то и дело замахивался нагайкой.

— Скоро ли я от вас избавлюсь?.. Эй, ты, шагай!.. Гляди, исполосую...

Высокий смуглый мужик с суровым лицом, шагавший впереди, даже не обернулся на оклик, только ту же сжал брови. Рядом с ним шли его жена и сноха с ребенком на руках.

— Терпите, родные, — говорил он вполголоса.

А они, хотя слышали эти слова уже много раз, все-таки отвечали.

— Не заботься о нас. Потерпим.

Люди с трудом передвигали смозоленные, натруженные ноги. Скрипели деревянные колеса телег.

В бесконечную даль тянулся великий Сибирский тракт. Ветер шевелил зеленые космы плакучих берез, посаженных вдоль дороги. Шли «переведенцы» мимо полей, где волнами колыхалась спелая рожь, шли мимо целин, до которых не касалась рука землероба. А земля была вся в цвету, и голову кружило от запаха трав.

Шедший впереди мужчина тоскующим взглядом глянул на пустоши: вот бы где приложить руки. Да и не один он поглядывал с тоской на землю, ждавшую человека.

— Стой! — послышался неожиданный окрик.

Обоз остановился. Передние видели, как пристав поворотил лошадь. Из-за придорожных кустов выходили незнакомые люди с фузьями, с копьями.

— Стой! — снова послышался крик, затем звонко хлопнул выстрел, и пристав, взмахнув руками, повалился с лошади. Из кустов вышел рослый парень. В руке он держал длинноствольный пистолет.

— Воля! — крикнул он. — Идите куда кто хочет. Злодейской власти нет больше. Жалую вас волей. Будьте счастливы!

— Будь счастлив и ты! — дружно отозвалась толпа.

— Здрав будь, атаман! Спасибо тебе! — гаркнул смуглолицый.

Стоявшая рядом с ним жена его благодарно говорила:

— Золотой ты наш...

Молодушка, стыдливо глянув на кудряша, молвила про себя:

— А ведь и впрямь — золотой.

Вольные люди сидели на лесной поляне. Неподалеку журчал горный ключ. Вся лужайка, как снегом, была усыпана ромашками.

Разбойники, сытно пообедав, перебрасывались шутками. В одном месте шел разговор между самыми старыми членами шайки — Чижом, Трехпалым, Шкворнем и Косой Пешней.

— Удачлив наш атаман, — говорил Шкворень.

— Хоть и удачлив, — возразил Чиж, — да Прибытов нам поживиться давал... Дуваны при нем во какие богатые были.

— Угу, — бормотнул Трехпалый.

— Этот за мирское дело стоит.

— А кто нам, дуракам, спасибо за то скажет. Все одно петля ждет. Так не лучше ли пожить всласть?

— Угу, — подтвердил Трехпалый.

— Душа у тебя волчья, хоть ты и Чиж, — вмешался Косая Пешня. — Тебя вместе с Прибытовым тогда же бы пристрелить...

— Кого пристрелить? — спросил подошедший Юла.

— Тех, кто о Прибытове плачет.

— Не плачем, а головы под топор подставлять не желаем. Сколь ни велика добыча, всю раздаем мужикам. Не согласный я с этим. Зря Прибытова убили.

— А что, ребята! Тот хоть и сволочь был, зато с ним вина-то сколь попили, — вздохнул Юла.

Весь этот разговор слышал Блоха и передал атаману.

— Предадут они меня. Ведь злодеи.

— Не думай, Андрюха. Я рудничных за ними приставил доглядывать. Эти, брат, не выдадут.

Железный караван с Шайтанки, с заводов господина Ширяева, миновал Нижне-Чусовские городки. До устья оставалось меньше полета верст. Течение было тихое. Усталые бурлаки медленно шевелили веслами, благо ночь подходила к концу; караванный в домике на головной барке храпел во все носовые завертки, и лоцман клевал носом.

В туманной мгле никто из сплавщиков не видал и не слышал, как две лодки, одна с правой, другая с левой стороны, вдруг очутились у самых бортов. Из той и из другой прыгнули на барку незнакомые люди...

Караванный проснулся от шума, совершенно необычного. Это были возгласы, похожие на слова воинской команды.

— Стоять всем недвижимо! Спускать якорь!

Послышался скрежет железной цепи — якорь, действительно, спускали.

Караванный перекрестился широким крестом и, вспотев от страха, встал с постели, хотел было открыть дверь, но побоялся. Кто-то властно постучал.

— Отворяй да поживее.

Пришлось открыть. В полумгле наступающего утра караванный увидел двоих: один был худ, как скелет, — его лицо показалось караванному до того знакомым, что стало еще более страшно. Второй, помоложе, с шапкой буйных золотистых кудрей, сказал почти весело:

— Не узнаешь, Захар Кузьмич? Когда-то вместе до Лаишева плавали.

— Не признаю, родимые... Да воскреснет бог и расточатся врази его. Чур меня, нечистая сила!

— Ну, молитва тебе не поможет... Распечатывай сундук с деньгами и рассчитывай народ на этой и на прочих барках.

К караванному тотчас вернулся здравый рассудок.

— Как же так? Ведь деньги-то господские. Я на то права не имею.

— Знаем, что скупенек ты так же, как и господин Ширяев. Только обижать людей и обманывать не годится. Доставай деньги.

— Да что вы, братцы? Смилуйтесь!..

Тут худой подошел к караванному вплотную и ткнул его двухствольным пистолетом прямо в лоб.

Ощутив зловещий холод стали, тот затрясся мелкой дрожью и, уже ни слова не говоря, достал из-под подушки ключ. В железном ларце певуче звякнул замок. Кто-то услужливо зажег свечу, и при колеблющемся ее свете на стол посыпались серебряные и медные монеты.

Бурлаки столпились возле дверей. Слышалось громкое дыхание и приглушенные возгласы.

— Вот когда счастье-то привалило!

— С деньгами теперь по домам пойдем.

— Да кто они, наши милостивцы?

— Не спрашивай: видать, добрые люди.

Когда на столе образовалась большая светлая груда серебра и меди, атаман скомандовал:

— Становись в затылок! Заходи по очереди...

Барка неподвижно стояла посреди реки.

Там, где в Каму впадает речка Гаревая, на веселом душистом лугу сошлись оба отряда: Рыжанка и атаманши Матрены.

С радостью увидел Андрей, что не изменилась Матрена. По-прежнему из-под черных мохнатых ресниц сияли серые, как сталь, притягивающие глаза. Усмехаясь, шла она навстречу.

— Я тебя поджидала. Думала, все равно с тобой свижусь. Слыхала про тебя. Знаешь, как на Каме тебя зовут? Атаман Золотой.

— И я ожидал, что снова встречу тебя.

— Помнишь, как просился в мою шайку? Теперь бы я, пожалуй, такого молодца взяла с радостью.

Они любовались друг другом.

Андрей не говорил ни слова, только смотрел на любимую. Матрена заметила его смущение.

— Ну, что ж, будем в молчанки играть? Помоложе ты, ровно, бойчее был. Пойдем в мой курень гостевать.

Андрей отдал распоряжение ставить палатки.

На лугу люди двух отрядов познакомились друг с другом, рассказывали о своих приключениях, о схватках с воинскими командами. Среди людей Матрены Андрей приметил рыжеусого парня и стал припоминать, где он видел его. Тот, в свою очередь, тоже устался на Андрея.

— Таракан?

Да, это был Таракан, когда-то спасший его от смерти в холодных водах Камы.

— Вот где встретились!

— Переходи ко мне в команду.

— Кабы Матрена не обиделась? Ведь я у ней в первом десятке состою.

— Ну, гляди сам.

Встретил он и есаула Мясникова. С ним поздоровался молча.

Зато у Блохи с атаманшей встреча была самой дружеской.

— Матренушка!.. Родная ты моя, — всхлипывал Блоха, обнимая могутные плечи красавицы.

— Здорово, земляк.

В синих сумерках плыл горьковатый дымок. Разбойники зажгли костер и поставили на него таган. Над рекой, над лугом полилась песня, раздольная, проголосная.

Ах ты, поле ты мое, поле чистое,
Ты, раздолье мое, степь широкая!
Ничего ты, поле, не спородило,
Спородило част ракивов куст.
На кусту-то сидит млад ясен сокол,
Под кустом лежит молодой солдат.
Он не так лежит — тяжело раненный...
В головах у него бел-горюч камень,
Во руках у него сабля вострая,
Во ногах у него стоит добрый конь...

Тоска по неудавшейся жизни звучала в песне, и было грустно слушать ее здесь, над речным простором, из уст людей суровой судьбы, для которых не было другой дороги, кроме как на виселицу.

— О чем задумался, атаман Золотой? — услышал Андрей сзади голос Матрены и вздрогнул от чувства неизъяснимой радости, пронизавшей все его существо.

— Вот о чем думаю. Соединиться бы нам да ударить по слободам, по заводам, волю дать людям.

Атаманша повела крутым плечом.

— На что это? Сколько своих потеряешь на таком деле.

Андрей взял ее за руку, горячую и сильную.

— Матрена! Нам бы с тобой век не расставаться.

Женщина тихо засмеялась и ответила раздумчиво:

— Не пара мы с тобой, милый, к тому ж и воли я попробовала. Ничьей женой уж не стану... Слышишь? Ничьей... Да и разве такая тебе нужна? Ты ведь молоденький.

Она быстро отошла к костру, налила себе полную чарку вина.

— Выпьемте, разбойнички, за добрую встречу!

— Пей, матушка Матрена Никитична!

— Будь здорова, землячка, — протянул свою чарку Блоха.

— А ты все бойко прыгаешь? — спросила Матрена.

— Покудова мать сыра земля носит, Матренушка.

— И все свою песню любимую поешь?

— А то как же.

Разбойники кричали:

— Будьте здравы атаман и атаманша!

Отсветы костра освещали загорелые, обросшие бородами лица членов грозного братства.

Пир затянулся за полночь.

— Не пора ли расходиться по балаганам? — сказала Матрена. — Есаул, выставь караулы. Прощай, Золотой, покойной ночи!

Андрей проводил ее горячим, полным страсти и обожания, взглядом и пошел к себе в палатку.

Долго он лежал с открытыми глазами, слушая стрекотанье неутомонных кузнечиков. Мысли его неотрывно блуждали вокруг Матрены. Если бы только она согласилась на соединение обоих отрядов, сколько можно бы доброго сделать для народа. А самое главное — быть с ней все время, видеть ее, ласкать ее, никогда больше не расставаться.

Вдруг он услышал шорох: кто-то шел по траве. Пола над входом в палатку приоткрылась, и знакомый голос позвал:

— Не спишь, Золотой?

Андрей вскочил и протянул руки.

— Матрена! Милая ты моя!..

...Он не слышал, как она ушла. Солнце стояло уже довольно высоко, когда он проснулся, желая лишь одного — снова обнять ее.

Лагерь просыпался, но Матрениного отряда не было.

— Где Матрена? — спросил он у караульного.

— Раным-рано снялась и уплыла на пяти челнах.

Все случившееся казалось похожим на сон, однако тело хранило память о ласках любимой женщины и на губах оставался соленый вкус ее жарких поцелуев. Ему было горько, что она не захотела остаться с ним. Ушла, не разбудив, не простившись. Шевельнулась тревожная мысль: а что если эта встреча была последней? Он подумал о роковом пути обоих и невольно вспомнил слова песни:

Под кустом лежит молодой солдат,
Он не так лежит — тяжело раненный.

Атаман Золотой увел свою команду на Чусовую. Из пещеры, где хоронилась шайка, часто уходил он на берег реки и молча смотрел с крутизны на мутные волны. Они сейчас катились медленно и тяжело, как будто предчувствуя долгий зимний плен, когда лед скует их буйную свободу и завоюет над рекой метели, наметая сугробы.

Но придет весна, забурлят с окрестных гор потоки, вздуется, посинеет река и взломает ледяной покров. Вот когда развернет она свою богатырскую силу! Не стой на пути! Далеко слышно, как ревет Чусовая у Бойцов, бешено взбегает на утесы, разливаясь шипящей белой пеной, крутя воронки и стремительно уносясь дальше. Вот обогнула крутой мыс и широко разлилась на всю пойму, синее небо сияет над ней, в воду глядятся вековые сосны и отражения их колеблются в волнах... Ширь и раздолье!

Хозяином стал на Чусовой атаман Золотой. Свято держал он клятву: не поднимать руки на брата-бедняка. Зато горе было караванам Демидова, Турчанинова, графа Воронцова. Страх наводил он на заводчиков, на чиновников, на горное начальство. Наголову разбивал полицейские команды. В Екатеринбурге забеспокоились члены горного управления. Не один раз собирались они на совет.

— Что делать с окаянным? Просить помощи из России — позор.

— Неужели своими силами не справимся? Доверьте мне сие предприятие, — заявил Башмаков, коллежский асессор, и все согласились.

— Спасай!

...Блоха не раз уговаривал атамана.

— Не шути со смертью, Андрей. У нашего брата она за плечами стоит. Пора сменить пристань.

— Не наводи тоску, Блоха.

— Берегись, за нами, как за зверями, охотятся.

Блоха напроорочил. В серый прохладный день, когда дали закрывала пелена тумана, караульный подал сигнал. Из-за мыса выплывала барка. Видно было, как усердно работали поносными сплавщики.

— По лодкам! — скомандовал Золотой и назначил старших.

Разбойники сели в лодки, в одну семь, в другую пять человек, и поплыли к барке. Оттуда блеснул огонь, грянул выстрел, бурый дым поднялся над пушкой. Атаман заметил треуголки солдат за бортом. В тот же миг послышались стоны и крики — картечь ударила в середину лодки. Из-за барки, с другой стороны, показался шитик с воинской командой. Он плыл наперерез.

— Назад! — крикнул атаман. — К берегу!

Первая лодка ринулась вниз по течению, вторая стала поворачивать к берегу. Раздался новый залп. Ядро попало в борт. Лодка начала тонуть. Люди барахтались в воде. Солдаты

стреляли в них, били веслами по головам.

Андрей в бессильной злобе метался по берегу. С оставшимися в живых он решил защищаться до конца.

Солдаты причалили и повыскакивали из лодки. Они привинчивали к ружьям штыки. Предстоял бой — неравный, смертный. С барки снова хлестнула картечь. Косая Пешня упал. Блоха ойкнул и схватился за грудь. Четверо оставались невредимы: сам атаман, Трехпалый, Чиж и Шкворень. А солдаты уже лезли на угор.

Путь к пещере был отрезан. Пришлось принимать бой на угоре — сзади лес, впереди река. Разбойники, прячась за камнями, стреляли в солдат из ружей и пистолетов. Раненый Блоха заряжал те и другие.

Один из солдат был убит. Оставалось еще девять человек. Сержант, командовавший ими, подняв пистолет, кричал:

— Помни присягу, ребяташки! Поспешайте, заберем злодеев в полон! Эй, вы, окаянные! Кидайте оружие!

«Да ведь это Ванюшка Некрасов!» — узнал атаман усольского приятеля-протоколиста.

— Ванюшка! Это я, Андрей Плотников.

Сержант молча начал целиться в него. Расстояние было не больше двадцати шагов. Андрей вышел из-за прикрытия.

— Стреляй! Стреляй в старого друга, сволочь!

Раздался выстрел, пуля свистнула возле уха.

— Худо же тебя учили, Ваня, воинскому артикулу.

Атаман взвел курок и выстрелил старому приятелю в лицо. Тот зашатался и упал. Солдаты, потеряв командира, стали пятиться к лодке.

— Наша взяла! — кричал Трехпалый.

— Обожди радоваться, — предупредил Блоха. — Вон еще едут.

И верно: еще одна лодка с десятью солдатами направилась к берегу. Несколько человек с нее навели мушкеты. Раздался залп, и Шкворень, хватая руками воздух, свалился под откос.

Находившиеся на берегу солдаты снова пошли в наступление.

— Что делать, атаман? — спросил Чиж. — Не устоять нам.

— Отходить надо, ребята, — посоветовал Блоха. — Тут я все тропки знаю. Как-нибудь доберемся до Уткинской пристани, а там на Сылву, на Каму.

Атаман согласился. В тяжелый и долгий путь по лесным буеракам тронулись они, пробираясь сквозь чащобу, через мочежины и гари, переправляясь через лесные топи и таежные речки. Колючие лапы елей хлестали их лица, не давали покоя комары.

Блоха с трудом передвигал ноги. Рана загноилась. Однажды на привале он расстегнул ворот рубахи, и Андрей с содроганием увидел у него на груди черные пятна.

— Умру я, братцы. Оставьте меня здесь. Я вам помеха.

Никогда Андрей не испытывал такой жалости и душевной боли за другого, как сейчас.

— Не оставим. Понесем на носилках.

Тут же сделали носилки и понесли Блоху, сменяясь по очереди.

Умиравший слабо стонал, качаясь в такт шагам, наконец, попросил остановиться. Его положили под густой пихтой, чтобы не мочило дождем.

— Прощайте, — сказал тихо Блоха. — Не смерти боюсь, жалко, что жизни настоящей не видел...

Со слезами на глазах Андрей держал в своей руке его холодеющую руку. Из груди друга с хрипом вырывалось короткое дыхание. Трудно, мучительно умирал старый бродяга.

— Блоха, родной ты мой! Скажи хоть слово.

Умиравший остановил на нем потухающий взгляд.

У него началась предсмертная икота.

Зарыли его тут же под разлапистой пихтой.

Возле Уткинской пристани повстречали Юлу, изнуренного, оборванного, еле державшегося на ногах. Он рассказал о том, что во время боя двое были убиты картечью враз, а Заячья Губа, Чебак и двое рудничных попались в Кыну полицейским служителям.

— Я таки успел убежать.

— Востер ты на ноги, — хмуро сказал атаман, — Товарищей-то бросил? Я же тебя старшим поставил.

— Всяк за себя, — отворачивая взгляд, отвечал Юла. — Так уж довелось.

— Ну, коли всяк за себя, так иди ты своей дорогой один, куда хочешь. Верно, ребята?

— Верно, — нехотя отвечали Чиж и Трехпалый.

С Утки направились они прямо на запад к берегам Камы. Андрей искал Матренин отряд. Однако сколько ни бродили товарищи по Прикамью, как ни выслеживали по укромным местам на берегах, нигде не нашли даже признака отряда.

— А на что нам Матрена? — злился Чиж.

— Дурак! Три человека или тридцать — это, по-твоему, одно и то же?

— Изнищали мы, изголодались, — ныл Трехпалый.

Над головами беглецов торжественно шумели темно-зеленой хвоей кедры. Их кроны были так густы, что в тени у корней было темно и пусто, даже зимой здесь не наметало снега, а летом не росла трава.

В ближнюю деревню ходили за хлебом.

— Какого чомора! Надоело просить милостыню, — ворчал Чиж. — Надо силой брать. Этак мы с голоду подохнем.

— Возле Коринского завода клад зарыт, — вслух мечтал Трехпалый. — В Калиновом логу возле виловой березы. Вот бы выкопать-то его! Не на один год хватило бы.

— Обождите, — отвечал атаман. — Надо только на Матренин след напасть, тогда мы спасены.

Ночью разбойники покинули своего атамана.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Слышу, вижу, моя радость,
Что другую любишь.
Песня*

Со смятенной душой сидел Андрей на чурбане возле землянки деда Мирона. Светлые глаза деда смотрели строго. Он комкал свою ручьистую бороду и говорил:

— Навоевался? Слышал про твои дела, как вы с Прибытовым грабили да насильничали.

— Народ я не трогал, — глядя в землю, проговорил Андрей.

— Не трогал, так и с народом не шел. Вот и остался не у шубы рукав. Запомни: кто для других не живет, тот и для себя не живет... Тут у меня еще двое таких же, как ты, спасаются... Один из Матрениной шайки.

Андрей встрепенулся.

— Из Матрениной? А с ней что?

— Не стало Матрешы. За чем пошла, то и нашла. Настиг ее воевода возле устья Вишеры. С двух сторон подплыли: из Соликамска и из Чердыни. Большая, сказывают, сеча была, с огненным боем из пушек и фузей. Матреша сдаваться не хотела, до последнего билась. Только сила их была, воеводских-то... С Матрешей справиться не могли. Вся израненная, еще отбивалась. А когда уж выходу не стало, схватила двух солдат и со струга прямо в Каму кинулась...

Старик замолчал. Андрей сидел, стиснув руками виски, глядя остановившимся взглядом перед собой. Он не видел ни осенней лесной красоты, ни речного раздолья, весь уйдя в свое горе.

— Матреша! Матреша! — шептал он, и перед ним вставало прекрасное и грозное лицо

подруги.

Почему она не согласилась разделить с ним свою судьбу? Может быть, оба они бросили бы кровавую разбойничью жизнь? Может быть, ушли бы далеко на север, где нет жестоких начальников?

Душевная боль становилась еще более острой от мысли об одиночестве. Впервые Андрей почувствовал необходимость раз и навсегда решить вопрос, кем быть.

— Дедушка Мирон, я пришел к тебе, как к отцу родному. Каюсь, много крови пролил. Посоветуй, помоги... То ли новую шайку собирать, то ли за мирный труд браться?

Глаза деда Мирона потеплели.

— Вот и хорошо, милой сын, что на мирную жизнь тебя потянуло.

Вечером вернулись с рыбалки двое постояльцев дедушки Мирона. Это был есаул Мясников, крупный, с серьезным лицом черноволосый мужчина, и Никифор Лисьих. Никифор прямо с берега побежал к Андрею и упал ему в объятия.

— Нашел! Нашел!

В тот же вечер вчетвером, сидя в землянке, обсуждали они план дальнейшей жизни. Андрей предлагал отправиться на низ.

— Жить будем неподалеку от реки в деревне. Никто не узнает.

— Знать-то нас знают широко, в какую деревню ни забреди, — заметил Мясников.

Этот красавец с матово-бледным лицом, опущенным небольшой курчавой бородкой, с тяжелым пристальным взглядом темно-карих глаз вызывал у Андрея чувство ревности. Может, атаманша ласкала его.

— Что ж, по-твоему, в городе поселиться? — спросил он недружелюбно. — Из благородных, что ли, не привык к деревне?

Мясников добродушно улыбнулся.

— Из самых благородных: кузнец и сын кузнецкий.

— Ну, коли так — в деревне тебе дело найдется. А уходить надо. Скоро зима. Проживем зиму — двинемся на сплав. Там принимают кого хочешь.

— Я не супротив, — отвечал Мясников.

Так и решили двинуться в низовье.

Они пришли в деревню на берегу Камы ниже Сарапула. Староста согласился взять их на зиму в работники. У него они и поселились в большой светлой клети.

Никифор оказался очень расторопным: по-крестьянски обстоятельно поговорил со старостой, с мужиками, рассказал, что пришли они с дальних северных краев, спасаясь от «хлебной скудости», что готовы любую работу робить и «никакого дурна чинить не будут». Мужики кивали головами, но помалкивали: дескать, поживем-увидим. Когда Никифор сказал, что один из них кузнец, а другой грамоте ученый, все обрадовались.

— Вот это, паря, подходяще.

— Как бы нам того грамотея попросить, чтобы жалобу написал. Мы государственные, а нас к Юговскому заводу приписали. Да и кузнецу вашему работа найдется. У нас и кузница есть.

Никифор рассказал приятелям об этом разговоре, и на другой же день они с Мясниковым пошли осматривать кузницу. Андрей поговорил со старостой о мирских нуждах и пообещал написать жалобу кунгурскому воеводе.

Все трое почувствовали себя нужными для людей.

— Может быть, корни здесь пустим? — мечтательно говорил Никифор. — Я уж приглядел тут одну девку. Она по сиротству живет в людях, а родительская изба заколочена.

— Ты поди уж с ней до всего договорился.

Никифор покрутил ус.

— Словечком перемолвился...

— Больно ты хваткий парень, — мрачно отозвался Мясников. — Нам сейчас надо быть тише воды, ниже травы — кто его знает, какой тут народ.

- Народ везде одинаков. Я с любым язык найду.
— Язык языком, а нож и пистолет наготове держи.
— Верно, есаул, — сказал Андрей. — Ты, Никифор, поменьше о нас болтай.
— Эх, вы! Мне ли мужиков не знать?

Деревня Комарова была недалеко от села Полянки, поместья барыни Красильниковой. Это несколько смущало и настораживало Андрея, особенно, когда староста, благообразный плешивый старик, похожий на Николу-угодника, принялся рассказывать о недавних событиях.

— Летось у нас в Полянках разбойники шумели. Напугали госпожу Красильникову до того, что она ополоумела. Так теперь и зовем ее «дура-барыня». Вокруг дома забор поставила, держит свору собак, а дворня, слышь, вся ходит оборуженная, и барыня та бродяг ловит, ни одного нищего не пропустит: под караул да в город.

Когда Андрей поведал друзьям о дуре-барыне и ее порядках, Мясников встревожился.

— Гляди, как бы нас не тряхнули за ворот... Может, податься куда-нибудь подальше? В Бикбарду, на Ик, в Камбарку или уйти в леса под Красноуфимск. Места там гористые, нескоро доберутся.

— Чего раньше времени умирать, — возражал Никифор. — Мужики нами довольны. Кто докажет про нас?

— Ты из-за своей Палашки всех нас под обух подведешь.

Вечером в ворота постучали. Андрей был один в доме: Мясников с Никифором с утра работали в кузнице. На всякий случай атаман взял с собой пистолет и пошел отворять ворота. Каково же было его удивление, когда он увидел перед собой девушку в низко повязанном платке. Большие серые глаза, круглые щеки, широкий, немного вздернутый нос — все это было чем-то знакомо. Где он видел ее?

— Не узнал? — спросила девушка. — Я Дуня из Полянок.

— Дуня? Теперь узнал. Проходи в избу.

Девушка тихо сказала:

— Пришла тебя предупредить. Прослышала наша барыня, где вы схоронились, весть до нас дошла. Вишь, ты какой приметный. Барыня говорит: беспрерменно это разбойники, те самые, что мужа моего и сына убили. Мой совет: уходите, да поскорее. А дорога вам на восток до большого увала.

— Спасибо, Дуняша.

— Будете бежать, так я вам и место назову. Тятка мой живет в лесу возле куреней. Их видать с увала. Давыдовский починок зовется. Там и укроетесь... А мне идти пора. Наверно, уж хватилась барыня... Придете на починок, так и скажите: Дуня, мол, послала.

Дуняша поправила на голове платок и поднялась все с тем же тревожным выражением в глазах. За калиткой они расстались. Андрей тотчас же отправился в кузницу предупредить товарищей. Он застал их за горячей работой. Никифор держал в клещах раскаленный добела кусок железа, а Мясников бил молотом. Андрей рассказал о грозящей опасности.

— Вот и нажились, — с грустью сказал Никифор, бросая клещи. — Все одно, я Палашу с собой уведу.

— Ты о своей голове думай, — возразил Мясников, — а чужую не завязывай.

Стоял серый прохладный вечер. Как будто паутиной затянуло окрестность. Вечерний дымок поднимался над крышами и лениво таял в бледно-васильковом небе. Курица, подняв лапку и опустив хвост, стояла над мутной лужей. Стайка воробьев, нахохлившись, сидела на огородном прясле. Все дышало таким покоем, было так обычно, даже не верилось, что в это время где-то на господском дворе снаряжается в розыск команда и надо бросать обжитый уют.

— Куда вы, кормильцы? — спросила соседка, увидав приятелей, собравшихся в дорогу.

— Куда глаза глядят, бабка. К медведю в берлогу, вместе будем лапу сосать, — отвечал Никифор.

Веселостью он хотел скрыть тоску по девушке, по привычному крестьянскому

жительство. Ему всех горше было расставаться с деревней.

Дорога до Давыдовского починка оказалась на редкость тяжелой.

Друзья пробирались меж гигантских сосен и лиственниц, сквозь частый ельник и заросли можжевельника. Пахло папоротником, муравьиным соком и палой гниющей листвой.

— Бредем, как видно, наугад? — недовольно спросил Никифор.

— Лучше нам заночевать здесь, — предложил Мясников.

— Взберемся на увал, там, может, не так сыро, — сказал Андрей.

На увал они взошли, уже когда настала ночь, холодная, сырая, мгlistая. Выбрали полянку и разожгли костер. Стало теплей, и на душе немного легче. Озаряемые пламенем костра из темноты выступали черными великанами дерева. Снизу, из мочежины, доносился волчий вой.

— Теперь бы на полатах погреться, — проговорил Никифор, развязывая мешок с провизией.

— Поживем здесь с недельку, может, корни пустим, — пошутил Мясников.

— Мы от настоящей жизни отвыкли.

— Скажи: отучили. Неужели Андрей с его грамотой не нашел бы работу по душе, ты бы за сохой ходил, а я бы в кузне ковал. Как сковырнули нас со своего места, вот мы и н#233;люди стали.

— Я так думаю: человеку завсегда лучшего хочется.

— Вишь ты до чего додумался. Кабы не беда, ты, Никифор, не поумнел бы. Верно, стало быть, говорят: худа без добра не бывает.

— Тебе все шутки, а я озяб до того, что зуб на зуб не попадает.

Никифор и Мясников легли возле костра, Андрей сидел и любовался игрой огня. Он думал о том, что человек может перенести очень много, если не потеряет веру в свои силы.

Волчий вой из долины слышался все громче. На разные голоса выла большая стая. Андрей подбросил сучья в костер. Языки пламени взвились и заплясали в клубах дыма.

Поворачиваясь то одним, то другим боком к огню, приятели пытались заснуть на постелях из пихтовых веток. Андрей то и дело просыпался, наконец, чувствуя, что уж не сможет заснуть, принялся поддерживать костер.

Туман стоял на дне долины такой густой, что горы казались повисшими в воздухе. Утро вставало студеное, неласковое.

Мясников потянулся до хруста в костях и открыл глаза.

— Эх, и сладкий же сон мне снился!

— Матрена? — спросил Андрей.

Мясников приподнялся на локте.

— Слушай! Сердце у меня не телячье, а рука — кузнечкая. Может, и Матрена снилась. Ну и что? Любил ты ее, я тоже, и еще неведомо, кто жарче любил. Кабы жива была, померялись бы силами...

«Что я в самом деле?» — подумал Андрей и сказал сердечно:

— Прости меня.

Мясников ничего не ответил.

Когда совсем рассвело, перед глазами беглецов во всю ширь раскрылись лесные дали. Внизу, по дну долины, текла речка, и вода в ней по-осеннему была глубоко-синей. В одном месте над лесом поднимались голубые дымки.

— Курени! — воскликнул Никифор. — Значит, поблизости должен быть и починок.

Все приободрились, хотя путь по-прежнему лежал через чащу. Продираясь сквозь хвойную завесу, путники, наконец, вышли на поляну, где курились кученки. Спросили у углежогов, где Давыдовский починок. Те глянули хмуро и с подозрением.

— А вам на что?

— Не бойтесь, рассказывайте, не с худом пришли.

Еле-еле уговорили показать тропинку. Один вызвался проводить.

— Тут незнакомый человек заблудится.

— Вот это нам и надо, чтобы не знали, где мы якорь бросили.

Починок состоял из трех дворов. Дворов, собственно, и не было, даже верей не были врыты. Избы свежесрублены, одна еще и не закрыта. Возле нее широкоплечий сутулый старик гнул ободья для саней.

— Не ты ли дедушка Давыд?

— Я самый. А что вам надобно?

— Нас послала к тебе Дуняша.

Старик оставил работу и пригласил неожиданных гостей в избу.

— Оставайтесь. Места у нас скрытные. Поживете, сколь поглянется. Вот я клеть начал ставить, так поможете.

— Поможем, дед.

До черноты закопченные дымом стены избы показались беглецам, иззябшим и голодным, краше дворцовых покоев. В двух отдельных избах жили женатые сыновья Давыда. Они работали дроворубами в куренях. Местность была до того глухая, что лес подступал прямо к окнам.

— Тут только в небо дыра, — тоскливо сказал Никифор, почесывая затылок. — Ну, и добрались до жительствова, неча сказать. Здесь, кроме медведя да лешего, никого не повстречаешь.

— Лучше уж с лешим повстречаться, нежели с полицейской командой, — резонно заметил Мясников.

— Отдохнем, братцы, и за работу, станем жилье себе строить, — сказал Андрей.

— Верное слово, атаман, — откликнулся Никифор.

— Ты меня атаманом не зови. Кончилось мое атаманство. Теперь каждый из нас над своим горем атаман, только и всего.

— Нет, уж ты мне не прекословь. Как ты мне помог из Чермоза бежать, с той поры я тебя и стал звать атаманом. Ты мне вместо отца родного...

Андрей только рукой махнул. Он присматривался к новому жительству и думал, что зиму здесь прожить надо по-человечески: в труде. Он твердо решил не возвращаться разбойником на большую дорогу.

Целыми днями друзья работали в лесу, валили деревья, обрубали сучья, подтаскивали к жилью. Благо, ходить недалеко — все было под боком. Домой, возвращались усталые. Давыд учил их, как и что нужно делать.

— Глядите, братцы, красота какая! — позвал товарищей Андрей, показывая на сосну, гордо и широко простершую могучие ветви с густой темно-зеленой хвоей.

— У нас на Колве много таких красавиц, — сказал Мясников и вздохнул.

Никифор смерил сосну взглядом снизу доверху.

— Спилить, так дров-то на ползимы хватит. Доброе дерево.

— Сам ты дерево, — сказал Андрей с досадой.

Как-то среди работы со стороны починка услышали они девичий голос.

Ты, заря ли, моя зоренька,
Заря вечерняя, полуночная.
Высоко ты, заря, восходила:
Выше лесу, выше темного,
Выше садика зеленого...

— Чья это залетная пташечка? — спросил Никифор.

— Палага, наверно, — усмехнулся Мясников. — Ты не пошел к ней, так она сама прибежала.

Когда они на валках затаскивали на двор очередное бревно, увидели девушку. Она

стояла на крыльце, выжимая вехоть, простоволосая, босая, в подоткнутой юбке.

— Здорово, Дуняша! — крикнул Андрей.

Девушка застыдилась и скрылась в избе.

Обедали все вместе. Мясников поглядел на стены, на пол.

— А ведь ровно в избе светлее стало, когда хозяйка пришла.

— Как же это ты, Дуняша, решилась? — спросил Андрей.

— Давно думала убежать. Тятенька без меня бобылем живет.

«Хитришь, девка», — подумал Андрей.

В тот же день возле избы между ними произошел разговор снова о побеге.

— Не будут тебя искать?

— Пускай ищут, — ответила девушка. — Я на все решилась.

— Разве так плохо жилось у барыни?

— Плохо ли, хорошо ли, а хочу по своей воле жить... Помнишь, просилась тогда с тобой? Отчего не взял? Вот и пришла сама.

Андрей взглянул на ее просветлевшее лицо. Девичьи глаза, большие, ясные, смотрели прямо и доверчиво, как будто говорили: вот я, вся твоя.

Андрей обнял ее и поцеловал в мягкие покорные губы. Он не знал еще, любит ли ее, но чувствовал, что именно с ней ждет его простое и долгое счастье.

Они стояли под высокой елью. На ветке, раскинув хвост, сидела белка и, сверкая черными бусинками глаз, с любопытством смотрела на обнявшуюся пару, как будто хотела спросить:

«А что вы тут делаете, любезные?»

Дни заметно становились короче, моросил дождь, и друзья торопились закончить жилье до снега. Вскоре подъехали из куреней сыновья Давыда, и тогда работа пошла вдвое спорей. Венец за венцом ложились на мох под дружное пенье плотников:

Ой, раз — взяли,

Еще раз — взяли!

— К Михайлову дню вселяться можно, — объявил Давыд.

Сам он бил из глины большую русскую печь. Решили новую избу сделать не по-черному, а по-белому.

— Надо одну комнату отделить, — лукаво заметил Никифор.

— Для тебя, что ли? — опросил Мясников. — Палашку хочешь привести?

— Нет, для молодых.

— Для каких молодых?

— Для атамана и Дуняшки.

Андрей рассердился.

— Будет тебе брехать.

— Чего брехать, видал, как вы целовались.

— Ну, и пес!

Мясников захохотал.

— Он тебя выследил, чтобы самому по закону с Палахой начать жить. Я их, ильинских, знаю: мастера в мутной воде рыбу ловить. Недаром возле Камы живут.

— Пускай ведет Палашу, — добродушно согласился Андрей. — Заживем семейно. Будет кому щи варить да чистоту наводить.

— Ну, и живите, а мне оставьте место хоть на голбчике, — пошутил Мясников.

Избу все-таки разделили на две половины.

В Михайлов день справляли новоселье. Мягкий пушистый снег лежал на поляне, на крышах изб, на ветвях деревьев. И от чистой его белизны было светло вокруг.

Давыдовы снохи напекли пирогов, сварили жирные щи, состряпали кулебяку. Старик

вытащил из подполья заветный лагунец медовухи. Дуня накрыла на стол чистую скатерть. В новой горнице вкусно пахло свежестроганным деревом, на стенах выступили прозрачные клейкие капли.

Когда все сели за стол, Давыд перекрестился.

— Освятить бы надо жилье-то, да где попа достанешь.

— Сами освятим, Давыд Маркелыч, — отозвался Никифор.

— Помолчи, шуторма! Крест — от нечистой силы оборона.

Дуняша принесла ржаную ковригу, старик в благоговейном молчании всего застолья разрезал ее на ломти. Посреди стола поставили большой пирог с рыбой.

Давыд налил всем по чарке.

— Ну, детушки, и вы, гости любезные, выпьем за новый дом, чтобы жилось в нем в труде и радости...

И все выпили по чарке. Женщины стояли поодаль.

Когда выпили по третьей, Никифор повеселел.

— А что же это бабоньки-то притолоки подпирают? Али места за столом не хватает?

— Ладно им и так, — ответил Давыд. — Не отсохнут ноги... Дунька, неси брагу!

Дуняша налила кружку и поднесла сначала отцу. Тот отпил. Дочь опять налила с верхом и так обошла всех. Когда очередь дошла до Андрея, он сказал тихо:

— За твое счастье, Дунюшка!

Девушка ответила нежной улыбкой.

— Пейте на здоровье!

Никифор, больше всех выпивший медовухи, раскис:

— Хорошие вы мои! Мы с вами проживем... Как родные, будем жить... Вот как!

— Ежели к нам с добром, так и мы добрые, — говорил Давыд. — Вон мы с женой сорок лет прожили, как с катушки скатились...

Заговорили и молчавшие до того его сыновья.

— У нас в куренях один углежог в кучёнок провалился, еле живого вытащили.

— Все одно помрет мужик, шибко обжегся.

— Вы хоть ради новоселья-то не болтали бы про такое, — рассердился Давыд. — Нешто другого разговора нет.

Мясников пил и не пьянел, только становился еще мрачнее. У Андрея слегка кружилась голова.

Женщины тоже выпили медовухи и сели рядом с мужьями за стол.

— А тебе, Дуня, и места нет? — пожалел Никифор. — Садись со мной рядом... Нет, не садись — у меня невеста есть. Палашкой зовут...

Дуня села рядом с Андреем, Давыд глянул на нее с гневным изумлением и даже крикнул: «Это что же за бесстыжая!» Но ради праздника не сказал ничего.

«Точно свадебный пир», — подумал Андрей.

Он ощущал рядом теплоту девичьего тела и с нежностью думал:

«Не ты ли моя суженая, с кем идти мне рука об руку всю жизнь до гроба?»

Дуняша как будто угадала его мысли, повернулась и быстро шепнула:

— Не гляди на меня; тятенька гневается.

Давыд переводил взгляд то на дочь, то на Андрея: ему по душе был этот ловкий и сильный парень, он бы с радостью отдал за него дочь, но вот беда: кто он таков, не известно, сегодня здесь, а завтра ищи его, как ветра в поле. А проклятая Дунька глаз с него не спускает. Надо дать ей острастку!

С этой мыслью он тяжело поднялся из-за стола, за ним поднялись и сыновья. Дуня осталась убирать остатки еды.

— Выходи за меня замуж, Дуняша, — сказал Андрей, обнимая девушку за плечи. Она спрятала у него на груди счастливое лицо.

Никифор похрапывал, прислонившись к стене и опустив голову на грудь. Мясников забрался на полати. Весь день он не проронил ни слова. Андрей догадывался о причине его

тоски. Однажды кузнец рассказал ему, как он поженился и стал жить во вновь отстроенной избе, как явился смотритель с заводов Походяшина и приказал отправляться на Богословские заводы. Кузнец отказался. Его хотели взять силой. Он убил смотрителя и бежал, оставив навсегда и дом и жену.

На другое утро Андрей пошел на половину, где жил Давыд. Старик надевал бахилы, а Дуня затапливала печь.

Андрей молвил напрямик:

— Дедушка Давыд, благослови свою дочь на брак со мной.

Давыд поглядел исподлобья и долго молчал.

— Не нашего ты корню человек. К крестьянской работе непривычен. Жить в лесу не станешь... Пошто сомустил девку?

— Не сомущал он меня, тятенька! — отчаянно крикнула Дуняша.

— А ты молчи! Рано волю взяла. Вот возьму варовину да отхлещу...

— Стало быть, нет твоего согласия? — спросил Андрей.

— Нет и не будет.

Дуня с рыданьем выбежала за дверь.

Андрей, может быть, и настоял бы на своем, но образ Матрены по-прежнему жил в сердце. Глядя на Дуняшу, он невольно вспоминал ту, которая принесла ему такое большое и такое мимолетное счастье.

Однажды девушка спросила его:

— Любил ты кого-нибудь, Андрюша?

— Любил, только померла моя любушка.

— Хороша она была?

— Зачем тебе знать?

Дуняша отошла от него и сказала с грустью:

— Ты и теперь ее любишь.

— Ее давно нет в живых и не надо о ней вспоминать.

У Дуняши показались слезы.

— О чем ты, Дуня?

— Так... ни о чем.

Зимой Андрей постарался каждому из товарищей дать дело. Вспомнив, как чеботарили они с Блохой на ревдинских курнях, он через Дуняшиных братьев связался с куренщиками. Заказов на починку всякой дорожной снасти было столько, что друзья половину избы превратили в мастерскую.

С утра до вечера слышался стук молотков.

— Сроду не думал, что чеботарем стану, — говорил Никифор.

— Полюби дело, и оно тебя полюбит, — подбадривал Андрей.

— Ты вроде деда Мирона: нас на путь наставляешь, а сам поди не чаешь, как весны дожждаться.

И все трое расхохотались.

Между тем слух о новоселах на Давыдовом починке дошел до ушей начальства. На масленице со старшим сыном Давыда приехал незнакомый человек. Был он маленького роста, собой щуплый, с хитрыми глазками и сморщенным, как пустой кошелек, лицом.

— С праздником, с широкой масленицей! Вон вы куда забрались! Верно, чтобы от очей начальства подальше быть? Ась?

Давыд несколько смутился.

— Это уж как вашей милости угодно.

Он посадил гостя за стол и поставил перед ним тарелку с блинами.

— А кто у вас в другой половине жительствоует? — любопытствовал приезжий.

— Знакомцы деревенские, земляки.

— Что же ты их не пригласишь к столу?

— Чего их приглашать: не чужие, сами придут. А вы, господин, чьи сами-то будете?

— Красноуфимский я. По письменной части маюсь.

Глаза «красноуфимского» воровато шарили по избе.

— Нехудо живете, худо, что в тайности себя содержите.

Поев, он оделся и будто по ошибке зашел на другую половину. По случаю праздника друзья играли в карты.

— Мир честной компании! — сладким голосом заговорил приезжий. — Дозвольте присесть?

— Садитесь, — ответил Андрей. — Какое у вас к нам дело?

— Дела, можно сказать, никакого... Просто заехал познакомиться... Узнать хотелось, кто в такой глухомани поселился.

Андрей нахмурился.

— На что же это понадобилось?

— Да больше из любопытства.

Мясников внимательно разглядывал неожиданного посетителя. Тот невольно съезжился под его немигающим тяжелым взглядом.

— Что ты, мил-человек, так смотришь на меня? Или признаешь знакомого?

— Признаю, — глухо сказал Мясников.

Гость принужденно засмеялся.

— Истинно сказано: гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется... Уж вы меня простите. Я поеду.

— Скатертью дорожка, — буркнул Никифор.

Приезжий откланялся, следом за ним вышел и Мясников.

Вскоре есаул вернулся и спокойно сказал:

— Помогите-ка мне, ребята, зарыть эту падаль.

— Убил?

— А как вы думали? Он нас вынюхивал. За тем и ехал в такую глушь. Он мне уж попадался раз, да я, дурак, отпустил его в ту пору... Старый ярыжка!

Через несколько дней поздно вечером раздался стук в ворота. Андрей вышел отворить, думая, что это один из давыдовичей. Перед ним стоял среднего роста худощавый пожилой человек.

— Пусти переночевать, — попросил он, — да скажи, коня куда завести.

— Ступай в избу, а коня заведи под навес.

Незнакомец сильно прихрамывал.

Андрей провел его в свою половину, где по стенам рядом с хомутами, седлами, уздечками висели лосиные рога, волчья шкура и несколько соболиных шкурок.

Мясников и Никифор храпели на полатах.

Проезжий окинул жильё острым взглядом, снял овчинный полушубок и остался в поношенном военном мундире.

— Верно, пришлось и на войне побывать? — спросил Андрей.

— Пришлось всякого отведать: и худа и лиха, — молвил хромой. — Завоевали бы всю Пруссию, кабы не господа-енералы. Много было меж них с немецким духом и ретираду чинили, где наступать следовало.

— Что ж ты сам ушел из армии или по ранению?

— В инвалиды меня поверстали, вот и попал на родину. Слыхал, может, село Богородское?

— Нет, не слыхал.

— Когда-то богато жили мужики, покуда не добрались до них царские чиновники да помещичьи бурмистры. Сам-то я по литейному делу мастеровал, а теперь вот медком да воском торгую. Езжу к знакомым пасечникам. Вот и к Давыду заехал.

«А ведь это я его в Осе встречал», — вспомнил Андрей, при свете лучины разглядывая незнакомца. Что-то необычное чулось ему в этом ночном посещении.

Он угостил заезжего ужином.

Сухощавое с реденькой седой бородой лицо его дышало умом и энергией.

— Слыхал ты, — спросил он с лукавым видом, — притчу про четырех братьев?

— Нет, не слыхал.

— Ну, так послушай: умственная притча. Жили в лесу четыре брата. Долго жили и стосковались по людям, стали советоваться, как поглядеть белый свет, разведать, какой правдой люди богаты. И решили они идти на все четыре стороны, каждый в свою: кто на восход, кто на полдень, кто на закат. Первый брат дошел до монастыря. Монастырь на горе, а под горой ключик. Видит: монах ключевую воду льет в кувшин. Налил и пошел в монастырь, первый брат за ним. Встал монах на паперти и ну продавать ту воду из кувшина. «Покупайте, православные, слезы богородицы». Народ толпится возле него, всякий свою склянницу протягивает. Тут первый брат и говорит: «Не покупайте у него, обманщика, видел я, как он брал эту воду из ключа». Откуда ни возьмись, набежали монахи, пузатые, краснорожие, задолдонили: «Бейте его, безбожного еретика!» Схватили первого брата и повели в подвал монастырский под крепкий караул.

Второму брату довелось дойти до города. Стал он спрашивать, где правда живет. Один мещанишко ему и говорит: «Спроси вон в суде, судьи должны знать». Второй брат поднялся по каменной лестнице, зашел в палату, где судейские чины заседали, и давай пытаться: «Расскажите мне, какой правдой люди живы». Поглядели на него приказные и ну хохотать: «Вот дурак-то, вот невежа!» А один, самый набольший, как закричит: «Паспорт у тебя есть?» — «Нет, — отвечает второй брат, — я сроду такого не имел». — «Так ты, говорит, беглый! Эй, стражи!» Полицейские служители подхватили раба божия и поволокли на съезжую.

Третий брат шел, шел да и дошел до деревни. Деревнешка бедная, избы ветром шатают. Ни баб, ни мужиков, одна старуха древняя. Спросил ее третий брат, куда народ девался. «На барина робят», — отвечала старая. — «Где же барин живет?» — «А вон евоная усадьба». Увидел третий брат, в каких хоромах барин живет, и пошел туда. Барин сидит в беседке, чай попивает со всякими сладостями, а вокруг него слуги: кто с подносом стоит, кто мух отгоняет. Увидел барин третьего брата и спрашивает: «Тебе чего надо?» — «Хочу, — говорит тот, — знать, по какой правде ты живешь. Видать, она у тебя легкая: мужики на тебя робят, а ты чай распиваешь». Барин рассердился: «Ты, холоп, меня учить пришел? Так я тебя сам научу. Отведите его на конюшню, да всыпьте горячих, чтобы с места не поднялся». Слуги рады стараться, набросились, как стая борзых.

Четвертый брат попал на рудник. Поглядел он, как люди из сил выбиваются, породу долбят, и спросил: «Что же это вам за охота камень бить день-деньской?» — «Кабы наша воля, — отвечают те, — мы бы и дня здесь не пробыли». — «Так бросьте все и ступайте по домам». Тут к ним подошел смотритель и на четвертого брата зверем глядит: «Ты это здесь по какому случаю? Как ты посмел народ мутить? Да я тебя в остроге сгною. Вяжите его, ребята!» Ну и связали.

Встретились все четыре брата в одном месте — в городском остроге.

— Стало быть, так и не нашли правду?

— Так и не нашли, видно, не с того конца брались.

— Я вот тоже искал правду да тоже не с того конца к ней шел.

— Правду искать — лучшей жизни искать. Все мы о ней думаем, да не все добываем.

— Я вот один ее добывал... и без толку.

— Одному и бревна не поднять, а возьмись всем тулаем — гору своротишь.

— Кто возьмется? Всем плетъ страшна.

Гость насмешливо прищурился.

— Стало быть, и ты в пустыньники записался?

Андрей вспыхнул.

— Кто я и кем буду, одному мне ведомо, никому до того дела нет.

— Рано ты, атаман Золотой, крылья опустил.

Андрей онемел. Слова незнакомца точно варом обожгли его.

— Откуда ты меня знаешь?

— Знаю. Великая гроза близится, атаман. На демидовских заводах, на сысертских, в Белоярской и Калиновской слободах, под Челябиной, на Катав-Ивановском заводе — везде бунтуют. А сколько еще поднимутся... Вся Исетская провинция, как пороховой бочонок, брось искру — взорвется... А ты в лесу сидишь... Эх, ты!..

— Да ты кто?

— Иван Белобородов. Запомни, может, свидимся...

Утром, чуть свет, гость уехал.

Зима подходила к концу, хотя порой еще шумели злые метели. Но вот наступила тихая погода. Прояснилось небо, и солнце блеснуло по-весеннему ярко, заслезилась оттепель. Как будто после долгого сна просыпалась тайга. Громче слышались в ней птичьи голоса, снег на лапах деревьев отяжелел, стал зернистым.

Приближалась весна, и друзья готовились к отъезду на сплав. Дуняше велели сушить сухари. Она ходила с заплаканными глазами.

— Не езд, Андрюша, — уговаривала она. — Сердце чует, не увидимся мы больше с тобой.

— Не тужи, Дуня, не кручинься. Привезу тебе из Нижнего полушалонок, из Казани ботинки сафьяновые, из Лаишева...

— Ничего мне не надо. Без тебя я с тоски зачахну.

— Ну, полно, полно. Все равно ехать надо.

Друзья решили отправиться в Шайтанку: во-первых, здесь было знакомо, во-вторых, есть у кого остановиться. Андрей рассчитывал зайти к Балдиным.

Накануне Андрею приснилась Матреша. Снилось, будто оба они поднимаются на высокую крутую гору. Кругом мрачные скалы, обросшие мхом, в расщелинах темные, хмурые, островерхие ели и медно-красное небо над головой.

Тягостно было на душе у Андрея, точно оставлял самое дорогое и шел неизвестно куда. Матрена вела его за руку. Ладонь была холодная, и холод ее проникал до самого сердца.

— Ведь ты мертвая, — говорил он.

— Для кого мертвая, а для тебя живая.

— У меня есть невеста, отпусти меня.

— Я твоя жена навеки.

Она смотрела на него неживыми глазами, и взгляд этот был страшен.

— Пусти! — крикнул Андрей, вырвал руку из ледяной Матрешиней руки и проснулся.

Тишина стояла в избе, только слышалось, как капля за каплей падает вода из рукомойника.

— Тьфу, какое наваждение!

У Андрея тревожно стучало сердце. Так он и не мог больше заснуть.

А в день отъезда младший из давыдовичей привез печальную новость: брата его взяли под караул и увезли в Красноуфимск.

— Стало быть, хватились нашего гостя, — сказал Андрей. — Пора и нам связывать котомки.

Уезжали синим мартовским утром.

Как ни крепился Андрей, но, глядя на Дуню, едва удержался от слез: такую душевную боль выражало ее лицо. В последнюю минуту Дуня прижалась к нему, всхлипывая, как ребенок:

— Не отпущу!

Он с силой разжал ее руки и, уже не оборачиваясь, пошел к саням, где сидели товарищи. Вез их Давыд. Старик тоже был печален.

Никифор насвистывал что-то под нос. Мясников пытался развеселить Андрея, но напрасно. Тот сидел молча, грустно глядя на лесную дорогу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*О, горе нам, холопам, за господами жить!
И не знаем, как их свирепству служить!*
«Плач холопов»

Ефим Алексеевич Ширяев проснулся в отличном расположении духа. Он сидел в легком шелковом халате у окна, держа в руке чубук, и с удовольствием наблюдал, как по плотине везли руду и уголь. Завод работал в полную силу. На складах все больше и больше накапливалось штыкового и полосового железа. Брат Сергей писал, что можно заключить выгодный контракт в Нижнем и по первому сплаву отправить весь запас. Надо ему ответить...

Писала и сестра Софья из Екатеринбурга. Собирается начать дело об окончательном разводе с Демидовым. Преглупейшая история! Неужели нельзя было завести аманта, сохранив все в тайне от мужа? Нет, понадобилось бежать — и к кому? К мелкопоместному дворянину, из роскоши — в бедность. Чем все это кончится? Недостаточно того, что люди болтают всякую всячину, так дошло до самой императрицы. Беспрецедентный скандал!

Он, Ефим Ширяев, разумеется, не попал бы в дураки.

Мысли Ефима Алексеевича приняли игривое направление. В доме все было устроено, как он хотел: в одних комнатах жена, в других — любовница. Имелась еще одна, тайная келейка, в нее приводили к нему для любовной утехы молодешки. Заведывал этим Алешка Кублинский, исполнявший обязанности дворецкого.

Вот и теперь он, наверно, уже дожидается в передней с утренним докладом. Преданный, верный раб.

— Алешка!

— Здесь, ваша милость! — послышалось за дверью.

В комнату вошел мужчина лет тридцати, с темными волнистыми волосами, с карими на выкате глазами, с пухлым красным ртом. Во всей его фигуре было выражение угодливости и подобиюстрастия. В руках Алешка держал довольно толстую тетрадь, «журнал повседневный всяким случаям и обстоятельствам».

Барин пососал чубук, выпустил изо рта клуб голубоватого дыма и лениво процедил:

— Читай.

Алешка прокашлялся и густым баритоном нараспев, ибо не очень наторел в грамоте, стал читать повседневную запись случаев за вчерашний день:

«Крестьянские женки Парасковья Прядина и Дарья Никитина за поношение между собою тальем нещадно наказаны.

Крестьянин Семен Репин за ослушность, по выдержании двух суток в цепи, палками наказан.

Крестьянин Пахом Власов за прогул от своей работы батожьем наказан.

Повар Евграшка Трусов за игру в карты, по выдержанию под стражей в цепях одних суток, вицами наказан.

Заводские женки, числом до семи человек, за ослушность от работы, в проводу по улицам палками наказаны».

— Это от какой же работы бабы отказались?

— Работа самая пустяшная — руду таскать.

— Сколько палок дали каждой?

— Пятнадцать.

— Мало! Сыщи тех баб, добавь еще по пятнадцати лозанов и приставь их к подноске руды на вечное время... А теперь поди скажи Катерине Степановне, чтобы кофий сварила.

Алешка на цыпочках подошел к комнатам, которые занимала содержанка. Катерина Степановна Иванова, екатеринбургская мещанка, уже второй год жила в господских

хоромах, окончательно оттеснив на задний план законную жену барина.

В первой комнате, гостиной, Катерины Степановны не оказалось.

«До кой поры дрыхнет! — подумал Алешка. — Легко живется суке. Не попалась бы на глаза нашему аспиду, торговала бы калачами в Разгуляе, не щеголяла бы в робронах да фижмах».

Он постучал в дверь спальни.

— Кто там?

— Это я, Катерина Степановна, Кублинский.

Не дожидаясь ответа, вошел в спальню. Катерина Степановна ойкнула и едва успела натянуть на грудь одеяло. Алешка увидел только, как блеснули белое плечо и голая полная рука.

— Алексей Иванович, как вам не стыдно? Без разрешения...

— Ничего-с, — каким-то сдавленным голосом проговорил Алешка и решительно шагнул к кровати, наклонив кудрявую голову.

— Алексей Иванович, что вы? Я барину пожалуюсь.

— Ничего-с, Катерина Степановна, ничего-с...

Напившись кофе, барин отправился на завод совершать свой обычный ежедневный утренний обход. Его сопровождал, почтительно отступив на шаг, Кублинский. Они шли по главной улице — Проезжей.

Навстречу попалась миловидная девушка. Завидев барина, она пугливо перебежала на другую сторону улицы.

— Чего это она? — недовольно спросил барин.

Алешка тотчас же заворотил девку и представил перед барские очи.

— Чья ты?

Девушка молчала, опустив глаза. Румянец стыда заливал ее смуглые щеки.

— Язык отнялся?

— Анютка Нарбутовских, надзирательева сестра, — отрапортовал Алешка.

— Что ж ты, милая, не отвечаешь мне, я ведь не зверь какой-нибудь, — говорил Ефим Алексеевич, на глаз оценивая девичью статью. Под этим липким и бесстыжим взглядом девушка стояла ни жива ни мертва.

— Ну, ступай покуда, — разрешил барин, — Девка или замужня? — спросил он Алешку.

— Помолвлена недавно за Гришку Рюкова из молотовой фабрики.

— Ты мне ее сегодня доставь. А Гришку отправь в Подволошную и запиши на сплав.

— Будет исполнено, ваша милость.

Ефим Алексеевич пошагал дальше, опираясь на трость. Эту трость хорошо знали шайтанские мастеровые: была она железная и обшита кожей.

Теплело. По обочинам каменистой усыпанной углем дороги бежали звонкие весенние ручьи. Пруд посерел и сверкал разводьями, но на горах еще белел снег.

Только фабрика внизу у плотины в этот весенний день казалась точно еще чернее. Шум воды, лязг металла и удары молотов сливались в сплошной гул.

Ширяев начал обход с кричной фабрики, самой крупной на заводе. В открытые ворота виднелись пылающие горны. У трех молотов стояли мастера с подмастерьями. В горнах «спели» крицы, и работники ожидали, когда можно будет раскаленную массу металла поддеть на вилку и подкатить к наковальне.

Ефим Алексеевич всегда раздражался, когда видел хотя бы малейший перерыв в работе. В заводском деле он разбирался плохо, и ему всегда казалось, что мастеровые отлынивают от работы. Так подумал он и на сей раз.

Подошел к первому молоту, на котором работал мастер Максим Чеканов, костлявый, с клочковатой, обожженной бородой и длинными жилистыми руками. Рядом с ним стоял с клещами наготове его подмастерье Иван Никешев — белокурый, богатырского роста и силы

детина, всегдашний победитель в борьбе и кулачных боях.

Оба сняли войлочные шляпы и поклонились хозяину. Тот спросил:

— Почему стоит работа?

— Дожидаемся, ваша милость, когда крица поспеет, — отвечал Чеканов.

— А ты что волком глядишь? — грозно спросил Ефим Алексеевич у подмастерья.

Иван попятился.

— Я не глядел...

Ширяев поднял трость и с размаху ударил парня по плечу. Тот вскрикнул и схватился за ушибленное место, новый удар заставил его со стоном опустить руку.

Утолив гнев, Ефим Алексеевич уже спокойно прошел по фабрике и направился к кузнице.

— Погоди, дьявол, когда-нибудь доберемся до тебя, — прошептал мастер, с ненавистью глядя вслед хозяину. — Терпи, Иванко.

В кузнице работа кипела во-всю. Под ударами молотов золотые искры веером взлетали от раскаленного железа. Придраться было не к чему, но нельзя, чтобы день даром пропал. Ефим Алексеевич вспомнил о семи бабах.

— Сыскал негодниц?

— Сыскал, ваша милость. Куда их доставить?

— В аптекарскую баню.

При заводской аптеке имелася баня, где стригли и мыли рекрутов. В обычное время ею никому не разрешалось пользоваться. Туда-то и привели несчастных женщин. Несколько мастеровых, родственники осужденных, провожали их до самой бани и роптали вполголоса:

— Час от часу не легче. Как только ни декуется над нами барин: то на конюшне вицами дерет, а теперь в бане придумал.

— Он, окаянный, еще и не то удумает.

— Тише ты!

Ефим Алексеевич присутствовал при экзекуции. Велел принести виц, а женщинам приказал раздеваться. Те завопили в один голос. Алешка грубо сорвал с одной из них полушубок и сарафан.

— Ништо, не помрете! Вон вы какие толстомясые!

Отпустив пятнадцать ударов, принялся наказывать вторую. Та, плача от стыда, разделась до пояса сама и покорно легла под вицы. Последнюю, молодую женщину, жену мастерового Василия Карпова Парасковью, Ефим Алексеевич стегал сам. Он хлестал молодуху до тех пор, пока по спине у ней не потекла кровь.

— Станете еще ослушиваться? Навечно будете при подноске руды, навечно!

Он кричал сердито, но лицо его выражало полное удовлетворение, как будто исполнял он очень важное и во всех отношениях приятное дело.

Женщины слушали, всхлипывая от боли и стыда, не смея взглянуть в глаза друг другу. Только Парасковья Карпова, которой досталось больше всех, стояла молча, бледная, с горящими гневом глазами.

— Теперь можно и пообедать, — сказал Ефим Алексеевич, выходя из бани и блаженно щурясь под лучами апрельского солнца. — Как там Евграшка? Изготовил обед?

— Изготовил, ваша милость. Как можно не изготовить? Я бы ему, стервецу, тогда последние волосы выдрал.

...Василий Карпов, молодой мастеровой, накинул на плечи жены кафтан и, задыхаясь от боли и гнева, шептал:

— Параша! Не пройдет это ему, не пройдет! А ты, родная, поплачь, легче будет.

Парасковья шла, не говоря ни слова.

В господском доме жизнь текла своим чередом. На половине самой госпожи Ширяевой всегда было тихо. Рано поблекшая, испытавшая и унижения и побои, она так боялась своего мужа, что при одном его появлении бледнела и теряла дар речи. В своем доме она жила как в заключении. Частыми посетителями ее покоев были монахини из Екатеринбургского

женского монастыря, нищие и странники, а комната напоминала часовню. Горела негасимая лампада, пахло елеем и ладаном. Стареющая, оскорбленная женщина находила утешение только в молитве.

— Постриглась бы в монашки, что ли, — недобро шутил муж. — По крайности мне бы руки развязала.

— Я и так ничем тебя не связываю, Ефим Алексеевич.

— Все-таки женой значишься. Хоть бы подыхала скорее.

— Бога ты не боишься, Ефим Алексеевич! Что я тебе худого сделала?

— Ты еще заплачь, святоша!.. Ух, ненавижу!..

И муж уходил, хлопнув дверью, а жена и в самом деле плакала — от обиды, от тоски, от сознания полной безвыходности своего положения в этом страшном доме.

Катерина Степановна тоже не чувствовала себя счастливой. Зевая, бродила она из комнаты в комнату, боясь без дела выйти из дома: как бы не донесли Ефиму Алексеевичу. Павлушка Шагин, молодой лакей, не сводил с нее собачьих глаз и сам, как собака, ходил за ней. Где бы она ни была, везде чувствовала на себе его внимательный взгляд, полный лукавства.

Вот и сегодня расхаживает Катерина Степановна по дому. Скука, хоть петлю на шею надевай. Зашла в людскую. Здесь сидит на диване, развалившись, как барин, Павлушка. Увидал ее, вскочил с поклоном.

— Наше вам! Как почивать изволили-с?

А сам смотрит, прищурившись, с хитрой улыбкой. Неужели проведал про сегодняшнее приключение с Алексеем? Какой тот все же неосторожный! Молодой, красивый — вот бы с кем связать судьбу, а теперь бойся: вдруг узнает Ефим Алексеевич! Страшно даже подумать. Конечно, она не крепостная, но разве господин Ширяев посчитается с этим. Он их обоих с Алешей замурует в стенах этого же дома — и никто не посмеет заступиться: кому она нужна, барская наложница.

Катерина Степановна остановилась в дверях. Справа была открыта дверь в кухню. В ней орудовал повар Евграшка, стуча кастрюлями.

— А я тебя, Павлуха, все-таки достигну! — подавал он голос из кухни. — Я знаю, это ты на меня донес. Все знаю. Ты первый наушник.

Тот закатывался смехом.

— Уморил ты меня, Евграшка! Кабы не я, так ты бы ничего на свете не видел. Вот ты стоишь у плиты, разные фрикасе готовишь, а жена твоя с Мишкой Харловым на задах у Нарбутовских милуется.

— Бреешь!.. Сволочь ты!

Евграшка выскочил из кухни, размахивая широким кухонным ножом. Это был маленький пузатый человечек, с безбровым бабьим лицом, с мокрым клоком волос на голове. Катерина Степановна не удержалась от смеха: до того уморительным показался ей рассерженный повар.

Евграшка был притчей во языцех у всей ширяевской дворни. Два года назад он женился на дворовой девке Аниске. Зная повадки своего барина, он накануне венчанья привел к нему невесту прямо в кабинет, ожидая великих и богатых милостей. Но барин ни с того ни с сего распалился гневом, затопал ногами, ударил Евграшку чубуком по башке и недобрым голосом завопил:

— Смеешься, негодяй? Ты бы еще мне приволок потаскуху с Разгуляя... На что мне твоя Аниска?

Евграшку перед самым венцом за эту штуку жестоко высекли, но никто его не жалел.

Мишка Харлов, конюх, волочился за Аниской, еще когда она была в девках, а после ее замужества потерял всякий стыд. Их выследил Павлушка и в «Журнале повседневно-всяким случаям и обстоятельствам» появилась однажды запись:

«Повара Евграшки жена и с нею крестьянин Михайло Харлов за блудные дела палками наказаны».

Дворня ненавидела господ, ненавидела и друг друга. Кублинский ждал только случая, чтобы съесть Павлушку за его ябеды. Тот, в свою очередь, мечтал, погубив соперника, занять место дворецкого. Евграшка готов был со свету сжить конюха, но тот держался крепко, потому что исполнял, кроме всего прочего, обязанности палача.

Господин Ширяев вернулся уже пополудни. Он потрепал Катерину Степановну по пухлой щечке.

— Соскучилась, душенька?

— Соскучилась.

— Ну, пойдем обедать. Столько было дел на заводе, что проголодался.

Обедали вдвоем. Евграшка подавал блюдо за блюдом. На столе стоял графин с рейнвейном, и Ефим Алексеевич подливал, Катерине Степановне в серебряный бокальчик красное, как кровь, вино. Та жеманно отказывалась, но все же выпивала чарку за чаркой.

Гришка Рюков был из той породы людей, которые сначала действуют, а потом думают, поэтому, когда дублинский передал ему приказ барина отправляться на сплав, он бросил на пол клещи и поднял зык на всю фабрику:

— Пошто не в очередь? Что я худого сделал? Не поеду!

— Отведаешь батогов, — пригрозил Кублинский, однако не стал связываться, вспомнив, что самое главное его поручение — побывать у Нарбутовских и доставить Аннушку.

«Губа не дура у Ефима Алексеевича: не девка — мед», — подумал он с завистью.

Дворецкий ушел, а Гришка продолжал бушевать. Он неистово ругался и жаловался товарищам.

— В воскресенье свадьбу играть собирался... Что же это, ребята? В самую душу плюнули.

Ребята сочувственно говорили:

— Конечно, Григорий, неладно с тобой поступили, да ведь, сам знаешь, деваться некуда.

— Ты, Гришка, нюни не распускай, — сказал Никешев. — Сразу после работы укройся где ни на будь.

Максим Чеканов тоже советовал:

— Тут дело неспроста. Гляди, не зря на тебя озлился наш супостат.

Григорий застонал от ярости.

— Я ему кишки выпущу! Жизни лишусь, а за обиду отплачу.

— Не мели попусту, становись к горну, — оборвал его Чеканов. Гришка замолчал, поднял с полу клещи и принялся за работу.

Ветер свистел в щели. Буйно хлестала вода в вешняках. Маховое колесо тяжело опускалось, и фабрика вздрагивала при каждом его повороте. В горнах неистово клокотало пламя.

Отработав урок, Григорий пошел домой.

Избенка у него была некорыстная. Узенькие, подслеповатые окошки, дырявая крыша. Манефа, мать Григория, хоть и была служительева вдова, домоводство правила не на широкую ногу.

Сухощавый, с огненными карими глазами, смугляк Григорий после работы любил покопаться в саду. Но сегодня даже не заглянул туда.

— Дай, матушка, поесть! — устало попросил он, снимая войлочную шляпу. Черная тоска лежала на сердце.

— Все готово, дитятко, — отвечала Манефа.

На столе, накрытом изгребной скатертью, уже поставлены были чашки и тарелки с неприхотливой едой. На то имелась причина: Григорий копил деньги на свадьбу. Все мысли его были сейчас о невесте. Надо бы передать ей, что посылают его на сплав, проститься. При мысли об этом кровь прилила к лицу: «Ну, изверг! Погоди, придет наш час».

Он скинул армяк, сел в красный угол, как подобает хозяину, и принялся есть.
Манефа, подперев щеку рукой, смотрела на сына и рассказывала о заводских «приключениях».

— Наказание было опять...

— Кому? — оторвался от чашки Григорий.

— Заводским женкам.

У Григория заходили на щеках желваки.

Неожиданно вошел Василий Карпов, зять Григория.

— Садись за стол, — пригласил тот.

— Еда в рот не лезет, Гриша.

— Что случилось?

— Такое, что и не слыхано. Баб наших драли лозанами в аптекарской бане... И мою Парашу... сам хозяин стегал.

— Парашу?

Григорий бросил ложку.

— Сестру?

Василий опустил глаза.

— Сам Ширяев стегал?

Дверь распахнулась, и на пороге встала Парасковья, бледная, с раздувающимися ноздрями.

— Эх, вы! Мужики! — крикнула она. — Стыд нам за вас.

— Что? — грозно поднялся Григорий.

— А то, что когда же мукам конец придет? Когда вы за ум возьметесь? Не нам ли, бабам, прикажете за себя стоять?

— Парасковья! Ступай домой, — сказал Василий, стараясь придать словам тон приказа.

— Неужели в тебе совесть не говорит? При тебе меня раздели...

— Парасковья!

— При тебе меня... А ты?

Плечи у Парасковьи задрожали, она до крови закусил губу.

— Не плачь, сестренка, — сказал Григорий.

— Ну, хватит.

Василий взял жену за руку, она отбросила его руку. Муж рассердился.

— Ты что? Вовсе из воли вышла?

— Дерьмо ты, а не мужик...

— Я?

Василий замахнулся, но тут в распахнутую дверь раздался сильный голос Мишки Харлова:

— Григорию Рюкову приказано не медля ни часу идти в деревню Подволошную и готовиться к сплаву.

— Не пойду, — крикнул Григорий, но Мишка уже исчез.

— За что тебя, Гриша? — спросил Василий.

— Ума не приложу. Никакой провинки за мной не числится.

— А знаешь ты, что твою невесту к барину уволокли? Бабы сказывали, будто остановил он ее посередь улицы.

— Убью! — рявкнул Григорий и, схватив молоток, ринулся к двери.

— Гришка! Куда ты?

Григорий выскочил за ворота, здесь его остановили двое стражников. Они загородили ему дорогу.

— Гришка! Тебе надо быть в Подволошной... На сплав назначен. Айда с нами!

— Ребята! Так ведь я...

— Ничего не знаем. Нам приказ даден.

— Ребята! Ведь вы меня знаете... Ну куда, зачем мне идти? Ведь у меня, ребята,

свадьба скоро... За что?.. Ребята!

— Айда!

Гришку подхватили под руки и потащили по дороге в Подволошную.

В этот день в доме надзирателя Ефима Нарбутовских все были в тревоге. Сам Ефим, не старый еще человек, недавно потерял жену. Дом вела старуха-мать. Сестра Анна готовилась к замужеству.

Сегодняшняя встреча и расспросы Ширяева не на шутку обеспокоили все семейство. Анна уже знала, чем это обычно кончалось. Ее двоюродная сестра Марина, выходившая замуж за писчика Ивана Протопопова, силой была приведена к господину.

— Ты бы известила жениха-то, — советовала мать, но Ефим сказал:

— Нет его на заводе, отправили в деревню, а оттуда на сплав поедет.

— Вот тебе и свадьба! — вздохнула старуха.

Анна тосковала.

— Убегу я куда-нибудь, у соседей укроюсь.

— Сыщут — всех нас под наказание подведешь. Положись на божью помощь. Может, пронесет грозу.

— Нет, матушка, чует сердце беду. Как он глядел на меня!

Девушка содрогалась от гадливого ощущения.

Вечером, когда она вышла за водой, ее встретил Кублинский и, ухмыляясь, передал ей приказ барина:

— Велено тебе идти со мной в барские покои.

Анна заплакала.

— Чего реवेशь, дуреха? В храм любви попадешь, на платок получишь да еще гостинцев с собой унесешь, коли угодишь барину.

«Храм любви» — так называлась уединенная комната, находившаяся отдельно от всех, под крыльцом. Ключ от нее хранился у самого Ефима Алексеевича. В комнате все было убрано согласно вкусам владельца: бухарские ковры, тафта, маленький столик на восточный манер, погребец с винами и сладостями, а на стенах французские картинки. Разглядывая их, Алешка всякий раз ржал, как жеребец.

Когда он привел в «храм любви» плачущую Анну, Ефим Алексеевич находился уже там. Он мерял комнату широкими шагами.

— Получайте, ваша милость.

— Ступай.

Алешка вышел. Ширяев закрыл за ним дверь на крючок и стал приближаться к своей жертве. Та с ужасом отодвигалась от него.

— Ну? — сказал он страшным голосом и схватил девушку в объятия.

Завязалась немая борьба. Разъяренный сопротивлением, Ширяев схватил девушку за горло и начал душить. Анна хотела крикнуть и не могла. В этот момент кто-то сильно ударил в дверь и сорвал ее с крючка. Ширяев в бешенстве обернулся: на пороге со стиснутыми кулаками стоял Ефим Нарбутовских.

— Ты... зачем ты сюда?

— Не позорь сестру, господин... Не дам ее поганить... Анна! Пойдем.

Он взял сестру за руку и вышел.

Ефим Алексеевич налил себе полный стакан вина, выпил залпом и стал думать о том, как отомстить Нарбутовских. Трудно было это сделать. Как лучшего на заводе мастера, превосходно знавшего заводское действие, как самого исполнительного и честного работника, вдобавок грамотного и трезвого, назначили Ефима на должность надзирателя. Если убрать его с этой должности, посадить на цепь в заводскую чижовку, отзовется на собственном кармане. Надо поискать другое средство. Ефим Алексеевич выпил еще стакан вина, но так и не мог придумать, чем насолить надзирателю. Обидела его и девка. Ну, с той разговор будет короток. Не хотела провести ночь с господином, проведет со слугой, и он

вспомнил Алешку Кублинского, Павлушку Шагина. Вот кому дать ее на потеху!

Ширяев плохо спал эту ночь, несмотря на то, что с ним была его Катюша. Утром, проснувшись, он взглянул на ее лицо и с неудовольствием заметил морщинки вокруг глаз и по углам рта. Как быстро стареют женщины! Давно ли он привез ее из Екатеринбурга почти девчонкой, и вот уже успела потерять молодость и привлекательность.

После завтрака Алешка принес письмо. Оно было от сестры из города.

«Дорогой и прелюбезный братец Ефим Алексеевич! — писала Софья, — Демидов сочинил на меня всякие небылицы, и теперь государыня требует меня к ответу. Помогите, любезный братец, помощью и советом. Как мне быть в моем жалостном состоянии? Спасите меня от тирана. Что если меня приказано будет вернуть Демидову? Я тогда наложу на себя руки.

Приезжайте, любезный братец. Здесь много новостей. Приехал полковник Бибииков и дал знатный бал. Всю ночь играла роговая музыка. Я много танцевала. Познакомилась с членом горной канцелярии господином Башмаковым. Он треземабль. Наговорил мне кучу комплиментов и целовал руки.

Встретила вашу прежнюю любовь. Она мне сказала, что ей предстоит марьж с капитаном здешнего мушкатерского полка. Есть еще время расстроить сие предприятие, ежели вы приедете незамедлительно.

Остаюсь преданная вам и любящая ваша сестра Софья».

— Вели закладывать лошадей, — распорядился Ширяев. Письмо взволновало его, к тому же давно хотелось съездить в Екатеринбург, отвлечься от заводских дел.

— В конторе, ваша милость, пришли наниматься на сплав.

Это тоже было важное сообщение.

— Дай одеться. Погляжу, что за народ.

Ширяев накинул архалук и отправился в контору.

Иван Протопопов переписывал прибывших наниматься на сплав. Записывая фамилию «Некрасов», он вспомнил, что где-то видел этого синеглазого кудряша.

— Два года назад я плавал на вашей барке до Лаишева, — подтвердил тот.

Господин Ширяев всегда сам принимал сплавщиков на караван. Из восьми человек он сразу же отобрал четверых, оказавшихся крестьянами Уткинской слободы. Эти у воды выросли, учить их не надо. Дошла очередь до следующей четверки.

— Как зовут?

Лобастый белокурый парень с широким веснушчатым лицом, изборожденным лиловым шрамом, ответил:

— Лисьих Никифор.

— Откуда у тебя шрам?

— В драке поцарапали.

— Мне буянов не надо. Проваливай... Ты кто такой?

— Посадский города Кунгура Кочнев Филипп Денисович, — бойко отрапортовал худощавый, быстроглазый человек лет двадцати пяти.

— На сплаву бывал?

— Не доводилось, батюшка барин. Врать не стану.

— Хлипок ты. Куда тебя поставишь? На барке сила и ухватка нужны. Не принимаю...

А твоя фамилия?

— Некрасов Иван. Вот паспорт. На сплаву бывал.

Ефим Алексеевич посмотрел в паспорт, потом в лицо сплавщику, и что-то ему в нем не понравилось: и гордая посадка головы, и смелый взгляд, и золотистые кудри. От всей фигуры этого молодца веяло непокорством и независимостью. Такого в руки не возьмешь, а только намаешься.

— Не принимаю... Как твоя фамилия? — обратился Ширяев к последнему из четверки — смуглому, мрачноватому человеку.

— Мясников моя фамилия. Только я раздумал найматься, коли моих товарищей не взяли.

— Стало быть, одна шайка... Та-ак...

Окинув нанимавшихся змеиным взглядом, барин вышел, а Протопопов сказал:

— Будьте, братцы, настороже.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — весело отозвался Никифор.

Выйдя из конторы, друзья стали совещаться, как быть.

— Сперва поест надо, — сказал Никифор. — Я до того голоден, что корову с теленком съел бы.

— Пошли в Талицу, — предложил Андрей.

Встречный мастеровой спросил:

— Не фатеру ли ищите?

— Да, надо бы хоть на время остановиться. Отдохнуть с дороги.

— Айдайте ко мне. Изба у меня просторная, ни жены, ни ребят. Спокой.

— Что ж, пойдемте, друзья.

Мастеровой, назвавшийся Иваном Никешевым, привел их в свой дом на Верхней улице.

Той порой господин Ширяев, владелец Шайтанских заводов, во весь мах мчал в город.

Он приехал в Екатеринбург к вечеру. Дом, где жила Софья Алексеевна, стоял на самом бойком месте, — на Уктусской улице, рядом с гостиним двором. Поблизости, только перейти через улицу, желтели каменные здания горной канцелярии, горного училища, земского суда и острога.

С соборной церкви раздавался унылый великопостный звон. Ефим Алексеевич снял шляпу и набожно перекрестился.

Сестра встретила его на крыльце. Это была миловидная, пышнотелая блондинка, напудренная и надушенная. Глядя в ее открытые, чистые, как у ребенка, глаза, никак нельзя было подумать о многочисленных любовных приключениях этой женщины и о трех ее замужествах. В передней лакей снял с Ефима Алексеевича дорожное пальто. Сестра и брат сели в гостиной.

Прежде всего Ефим Алексеевич поинтересовался, как обстоят дела с Демидовым. Софья Алексеевна надула розовые губки.

— Все одно я с ним жить не буду, хотя бы государыня силой вернула к нему. Столько наобещал, когда женился, а после свадьбы посадил на хлеб, на воду.

Она гневно потряхивала ножкой, обутой в изящную бальную туфельку.

«И когда только Софья успела заправской дворянкой стать», — думал Ефим Алексеевич, оглядывая нарядное убранство гостиной с коврами на полу и на стенах, с бронзовым амуром на столике из черного дерева, с расписным плафоном.

Вспомнил, как в Горохове та же Софья мыла полы в отцовском доме, а братья по очереди сидели в лавке, торговали мелочишкой. И вдруг, как в сказке, приехал волшебный царевич, взглянул на девку-чернавку и стала она женой на всю империю знаменитого богача, а братья Ширяевы — владельцами Шайтанки, рудника и окрестных деревень. Враз все стали богатыми людьми. Младший брат еще не хочет расстаться с торговлей, но часть прибыли от завода, которую он получает ежегодно, дала ему право стать гильдейским купцом.

— Когда же ты думаешь попроведать свою Амальхен? — спросила Софья Алексеевна, желая закончить неприятный разговор.

— Да хоть сейчас... Эй, Мишка! Ты еще не выпряг лошадей? Поедем на Береговую.

— Смотри, не загащивайся, — смеясь, говорила сестра. — Пасху будем встречать вместе.

— Что ты? До пасхи еще две недели.

— Все равно не отпущу. У меня будет много гостей.

Ефим Алексеевич с радостным трепетом ехал на Береговую улицу. Там в маленьком домике, окруженным садом, жила его возлюбленная.

Уже совсем стемнело, когда он подъехал к заветному крыльцу. В одном окне светился огонь. Ефим Алексеевич заглянул в окно. Амалия сидела за столом и что-то вязала. Он постучал, как у них давно было условлено, три раза. Дверь отворилась, мелькнуло розовое платье.

— Ефим! О, ти не забудь свою Амальхен?

Ефим Алексеевич протянул к ней обе руки. Он точно переселялся в другой мир, полный светлых видений. Шайтанка, с курными избами, с унылыми фигурами мастеровых, злобно поглядывавших на владельца, — все это стало бесконечно далеким. Ефим Алексеевич наслаждался любовью и покоем. Он был счастлив сознанием, что, несмотря на свои сорок восемь лет, еще нравится женщинам. Правда, Амальхен ему стоит очень дорого, но что делать, в таком возрасте нельзя не платить за любовь.

— Я слышал, ты собираешься замуж выскочить?

— О, найн, найн! Я люблю только тебя. Ти один хороший.

— Смотри у меня! А то, давай, я тебя увезу в Шайтанку?

— Там Катиш.

— Катерину отправлю обратно к ее мамаше.

Она отрицательно покачала головой.

— Не хочешь — силой увезу.

Амалия посмотрела на него с испугом.

— Не хочу, не хочу. Ти злой.

— Ну, ладно, ладно. Шуток не понимаешь, дура. Ставь-ка лучше на стол вино и закуски...

На другой день Ефим Алексеевич отправился в горную канцелярию. Здесь он познакомился с новым членом горной канцелярии коллежским асессором Башмаковым. Одетый в полувоенный мундир чиновник с холодным и властным лицом встретил его вопросов:

— Как у вас на заводе? Спокойно?

— Грех пожаловаться. Народ у меня не балованный, работают...

Губы Башмакова сложились в улыбку. Должно быть, он не поверил.

— Советую все же завести команду из верных людей.

Этот разговор очень неприятно подействовал на Ефима Алексеевича. Из кого он наберет верную команду? Несколько стражников — вот и вся команда. Все заводское население ненавидит его — что скрывать, — только из-под палки и работают. Ах, До чего ему сейчас не хотелось жить в Шайтанке! Но возвращаться туда придется, и уже от одной мысли о необходимости снова видеть вокруг себя хмурые и враждебные лица настроение Ефима Алексеевича окончательно испортилось. Он и в канцелярии не захотел оставаться, а велел Мишке снова ехать на Береговую, где ожидали его нежная забота и ласки Амальхен.

И снова был он счастлив в этом розовом раю, хотя нет-нет да и мелькала мысль: а как там, в Шайтанке? Остался там верный раб Алешка, но ведь и он только раб. Никому нельзя верить, в том числе самым близким слугам. Случись что — предадут и продадут.

Лежа на перине, полупьяный, он вдруг нащупал под подушкой листок бумаги. Поднялся с кровати, зажег свечу и прочитал начальные строки:

«Любезная моя сударушка! Сердечное мое сокровище! Ангел мой и купидон со стрелами! Жажду твоих поцелуев...»

Ефим Алексеевич побагровел от ярости, подошел к постели, где безмятежно спала Амальхен, и схватил ее за волосы.

— Кто писал? — прохрипел он, потрясая письмом.

Та спросонок ничего не могла понять.

— Молчишь, сука?

Он ударил ее по щеке.

— Не смеешь бить! — кричала Амальхен, — Ты не в Шайтанке. Вон отсюда!

Ефим Алексеевич посмотрел на нее с изумлением. «Вот как заговорила проклятая!»

Задышавшись от злобы, он подошел к стеклянной горке, где стоял дорогой сервиз саксонского фарфора, купленный для нее прошлым летом, и чашку за чашкой начал бросать на пол. С легким звоном разбивались они и вместе с ними искусно намалеванные на них пастушки, так похожие на розовую Амальхен.

— Мишка! Запрягай лошадей! Поехали в Разгуляй.

С того дня началась какая-то сумасшедшая карусель. Пасхальную неделю Ефим Алексеевич провел у сестры. Каждый день кончался пирушкой. Даже Софья Алексеевна начала беспокоиться за брата.

— Смотри, братец, как бы тебе без денег не остаться. Город у нас веселый.

— Не бойся, сестра. Нет денег — будут. Работные люди в Шайтанке день и ночь мне богатство куют.

Он пил без просыпу, стараясь заглушить тоску, пил со злости на Амальхен, которая так подлю его обманула, пил потому, что не хотелось ехать в Шайтанку.

Дни бежали незаметно среди гульбы и утех. Последний день Ефим Алексеевич вспоминал как тяжелый кошмар. Очнувшись в гостиной на диване, он увидел распластанный ножом ковер на стене, пустые бутылки под ногами и сброшенную с пьедестала статую Амура.

Потирая седеющие виски, Ефим Алексеевич пытался восстановить минувшую ночь.

Да, много было шума. Софья пригласила горных инженеров с женами. Лучше бы пригласила веселых женок с Разгуляя, тогда не случилось бы такого скандала... Тьфу, мерзость! Кто-то дал ему пощечину... Говорят, дворянин... За что? Ведь он обещал его жене серьги с изумрудами... Нет, он больше ни часу не останется в этом доме.

— Мишка! Запрягай лошадей! Едем в Шайтанку.

Молчание. Пришлось встать. Мишка валялся в передней с лицом, опухшим от пьянства. Только полновесный удар ямщицким кнутом вернул ему сознание.

Когда Андрей получил отказ принять его на сплав, он стал советоваться с друзьями, как быть, что делать дальше.

— Свет не клином сошелся: рядом Билимбай, Ревда. Ревдинские караваны изо всех наибольшие, — говорил Кочнев.

— Говорят, лучше всего в Билимбае, — сказал Никифор.

— Все одно, — отозвался Мясников, — была бы работа.

Решили идти наниматься в Билимбай.

— Ну, тогда и я с вами, — согласился Кочнев.

— Думаешь, тебя, сухопарого, возьмут на барку? — насмешливо спросил Никифор.

— Зато я хваткий да верткий. Где силой не возьму, там ловкостью достигну.

— Будем держаться вместе, — сказал Андрей. — Завтра выступаем в поход.

Ему хотелось в этот день побывать в Талице, повидаться с Балдиным.

Так он и сделал. Тот оказался дома и тотчас же спросил про Блоху.

— Похоронил я своего дружка в лесу, когда мы уходили от воинской команды. Умер от раны.

— Эх, жаль мужика. С богатой душой был человек, хоть и нищим жил. К таким людям, как на огонек, идут... Отчего же вы в такое злключение попали?

— Вольными людьми мы себя называли, не давали спуска начальству, за бедный народ стояли — ну и начальство не дремало. На Чусовой пришлось неравный бой принять. Чуть не все мои товарищи там головы сложили... Страшно и вспомнить.

— Так не тебя ли атаманом Золотым прозвали?

— Меня. Только ты об этом пока — никому ни слова.

Мастеровой посмотрел на него с уважением.

— Доброе дело делал.

— Делал, да что толку. Столько людей погибло...
Они сидели друг против друга, охваченные оба мыслями о минувшем и настоящем.
Андрей поднялся со скамьи.
— Прощай, в Билимбай отчаливаю.
Пахом тоже встал и сказал проникновенно:
— Не уходи в Билимбай: большое дело на череду.
— Какое?
— Покуда не скажу. Видишь, вон вода в котле закипает, так и у нас. Оставайся. Не от себя прошу, от всех мастеровых.

В избе Ивана Никешева шел большой разговор. Начался он с пустого.
— Что ты левой рукой за все берешься? Левша, что ли? — спросил Никифор.
Иван ответил.
— Барин тростью благословил.
— За что?
— За погляд.
— Что ж, на него и взглянуть нельзя?
— То-то и есть, что на нашего барина никак не уноровишь: не глядишь — бьет и глядишь — бьет. Такого зверя еще на свет не родилось.
— Ты бы, Иван, попридержал язык, — вмешалась мать.
— Ничего, бабушка, мы такие же, как вы: тоже из крепостных, — успокоил Андрей и стал расспрашивать дальше.
— Я не первый раз в Шайтанке и слышал о ваших порядках много худого.
— Господин Ширяев такие порядки завел, что, знать-то, по всей Сибири не видано. У нас, как приходит пора свадьбы играть, так девки и парни прячутся кто где, лишь бы барин не прознал. Разве можно это терпеть? Поневоле будешь глядеть на него волком.
— Так вы и терпите, стало быть?
— Куда денешься? Кабы наша воля, давно бы его в пруд спихнули да еще бы гирю к ногам привязали, чтобы не всплыл.
— Не пытались жаловаться на злодея?
— Как не пытались? Писали жалобы. Ванюшку Протопопова, хотя он в этом деле и неповинен был, плетью стегали до полусмерти. Всех заводских грамотеев исхлестали по подозрению, а толку от жалоб никакого не добились... Такую гадюку надо своеручно удавить...

Иван поглядел на свои могучие кулаки, нахмурился и замолчал.
Вечером пришли соседи: надзиратель Нарбутовских, мастер Чеканов, Василий Карпов, подошло еще несколько человек.
— Позавчера сестру мою господин Ширяев едва не погубил, — сказал Нарбутовских.
— Кто привел ее к барину? Наверно, Алешка?
— Кто больше. Три верных пса у барина: Кублинский, Шагин да Мишка Харлов... Теперь самого-то нет. В Екатеринбург угнал кутить.
— Вот вам бы и согласиться меж собой, пока барина нет, — посоветовал Андрей. — Поодиночке он с любым из вас сладит, а как все заодно будете, это уж сила.
— Кабы нашелся добрый человек, избавил бы нас от этого лютого зверя, весь народ бы ему в ножки поклонился.

Андрей почувствовал, что разговор подходит к роковой грани.
— Все в нашем заводе от мала до велика ненавидят хозяина. Мы слыхали, что по Чусовой назад тому года два гулял атаман Золотой, барки наших заводчиков топил, а бурлаков отпускал на все четыре стороны. Сговаривались мы тогда просить его побывать у нас в Шайтанке и казнить нашего злодея да опоздали: слух дошел, будто воинская команда побила атамана и его людей, будто никого из них и в живых не осталось.

Пожилой мастеровой с выжженным глазом резко ответил:

— Не таковский Золотой, чтобы воинской команде поддаться. Он заговорен и от стрел и от пуль.

Андрей слушал, расстроганный и изумленный. Мастеровой продолжал:

— Он девушку одну от позора спас, заступился за нее. А девица оказалась не простая. Дала она ему колечко в благодарность за спасение и говорит: «С этим колечком тебе никакие беды не страшны, через все стены пройдешь, все двери перед тобой откроются. И будешь ты через это колечко цел и невредим...» Вот оно как, а ты говоришь: воинская команда. Он кольцо повернул бы — и команде той конец.

— Знали бы мы, что атаман Золотой поблизости, мы бы от мира доверенных к нему послали: приходи, выручи, — сказал Нарбутовских, испытующе глядя на Андрея.

У того спазмы сжали горло. Вот когда пришел его час, вот когда сам народ просит его, ждет от него подвига, вот каким хочет он видеть его. Андрей думал открыться сейчас же, но было как-то неловко перед этими людьми, верившими в его волшебную силу, в то, что во всем ему удача. «Бедным защита» — лучшей похвалы нельзя заслужить в этом мире насилия и неправды. Да, он поможет им, хотя бы это стоило ему жизни.

Он видел перед собой их лица — мужественные и скорбные. Сколько силы было в их жилистых руках. Дать бы в эти руки ружья, сабли, копья, топоры...

— Вот, други, — говорил Нарбутовских, — хоть недолго вы у нас живете, а видели, каково наше горькое житейство. Терпелив у нас народ, да всему мера есть... Кликни клич — весь завод поднимется.

— Что ж не кличете? — насмешливо спросил Никифор.

— Ну, зачем так? — оборвал товарища Андрей.

— Нет у нас ратного навыка, мил-человек. Сноровки той нет, чтобы, значит, враз начать и враз кончить...

— Нужно действовать решительно, внезапно и всем в один час. Лучше ночью, — с жаром заговорил Андрей.

В избе стало тихо-тихо. Все точно ждали чего-то необыкновенного. Взоры обратились к Андрею.

— Надо знать, с каким оружием кто пойдет, — продолжал тот. — Первым делом нужно завладеть конторой, обезоружить стражников...

Мастеровые переглянулись.

— Да ты кто, молодец?

— Это он, ребята, — послышался вдруг сзади голос Василия Карпова, — Я на сплаву с ним когда-то до Лаишева на барке бежал. Он тогда в Лаишеве слез, а потом слух пошел, что новый атаман объявился. Он это и есть. Признал я его.

Тут и Никифор вступил в разговор:

— Атаман Золотой — это вот кто.

В избе стало радостно и шумно. Мастеровые повскакали с лавки, окружили Андрея, хлопали его по плечу, заглядывали в лицо, стараясь лучше разглядеть желанного человека.

— Может ли это быть? Да неужели это, парень, ты и есть атаман Золотой?

— Спаси от злодея! Заступись за нас.

— Сделаю для вас все, что в моих силах, — твердо сказал Андрей. — Клянусь в этом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Ах, когда б нам, братцы, учинилась воля,
Мы б себе не взяли ни земли, ни поля.
Пошли б мы, братцы, в солдатскую службу
И сделали б меж собою дружбу,
Всякую б неправду стали выводить
И злых господ корень переводить.
«Плач холопов»*

Цвела рябина, но сладкий ее аромат не мог заглушить привычный запах жженого железа и серы. Весна в этом году была поздняя, и природа точно наверстывала упущенное: буйно зазеленели кусты сирени и жимолости в палисадниках перед избами мастеровых, зеленели скаты гор на берегу пруда, зеленели леса на горах, окружавших Васильево-Шайтанский завод со всех четырех сторон. Стояла солнечная погода, и утром, когда заводской рассылка обегал избы, поднимая шайтанцев на работу, любо было взглянуть на поднимавшееся из-за гор ласковое солнце. Люди шли, не сутулясь от холода, а с веселыми лицами, переговариваясь вполголоса.

— Слыхал, Прокопич, про атамана Золотого?

— Как не слышать, слышал. А что?

— Да то, что объявился он на нашем заводе.

— Врешь!

— Вот те истинный крест, не вру. Может, найдется теперь управа на нашего злодея.

— Добро, ежели бы так... Оно нам вдвойне лучше: в ответе не быть и без барина робить.

Максим Чеканов и Василий Карпов возвращались со смены в свой конец на Проезжую улицу.

Навстречу, помахивая тросточкой, важно шествовал Павлушка Шагин. На нем был костюм с барского плеча, шея повязана белым шелковым платком, а на голове красовалась модная круглая шляпа.

— Ишь ты, как вырядился! — с ненавистью заметил Василий.

— А тебе что за дело, варнак? Мало вас дерут...

— Обожди и до тебя доберутся.

— Руки коротки!.. За дерзкие слова пойдешь господский двор подметать.

— Скоро атаман Золотой выметет вас отсюда вместе с барином.

— Ну-ка, ну-ка, расскажи, что за атаман? — прилип Павлушка. — Пойдем-ка со мной к барину.

— Никуда я с тобой не пойду, отстань, паскуда.

— Врешь, пойдешь!

И он схватил Василия за шиворот. Тот вырвался и с маху ударил Павлушку по скуле. Модная шляпа слетела, и лакей едва устоял на ногах. Некоторое время он оторопело глядел на мастерового, потом поднял шляпу и погрозил:

— Ты мне за это ответишь. Пожалуюсь Ефиму Алексеевичу.

— Ступай, жалуйся, барский наушник.

Никогда Павлушка не слышал от мастеровых столь дерзких слов, да еще с битьем по лицу, и со страхом подумал: «Что-то неладное готовится. Надо тотчас доложить барину».

— Зря ты с ним связался, — упрекнул Чеканов, когда Павлушка отошел, — и про атамана надо было молчать.

— Не стерпел, Матвеич. Вот до чего накалило.

— Ну, я с тобой не прощаюсь, Василий. Ночью стукни, вместе пойдем к Никешеву.

У крыльца Максима встретил его старший сын Илюшка. Хотя ему было всего пятнадцать лет, он уже третий год работал рудовозом.

— Ну, что, большак, отробился? — спросил мастер.

— Отробился, тятя.

У Илюшки было широкоскулое лицо, все в крупных веснушках и большие светлые глаза. Отец и сын вместе зашли в избу.

Обоих работников ждал ужин. Агафья, жена Максима, проворная и работающая баба, несмотря на то, что растила пятерых детей, управлялась с домом и с огородом.

Вымыв лицо и руки, Максим сел за стол.

— Ну, бесштанная команда! Рассаживайся по лавкам!

Двое мальчишек и девочка — все в одних рубашках — подошли к столу, младшая дочь

качалась в зыбке. Отец долго и задумчиво глядел на свою детвору, не прикасаясь к еде.

— Кто-то из вас вырастет? — подумал он вслух. — Что-то с вами будет?

— Парни станут у горнов, а девки сядут за прялки, — ответила Агафья, — Известное дело.

— Да, видно, так оно и будет. Ешьте.

Агафья заметила, что муж сегодня не в себе. Таким она видела его только раз, когда накануне свадьбы уводил он ее в Подволошную тайком к дальней родне. Поев немного, он положил ложку.

— Пошто мало ел?

— Не хочу.

— Что хоть случилось-то?

Максим нахмурился.

— Ничего. Не приставай без дела.

Он вышел на крыльцо. Стояла тихая, теплая, душная ночь. Небо неярко светилось звездами. Месяц, какой-то необычно белый, серебрился над горой. Избы мастеровых, слабо освещенные им, выступали из Мрака. В некоторых окнах сквозь ставни виднелась полоска света. В настороженной тишине лишь изредка раздавался стук колотушки, и Максим подумал: «Сторожа надо первым делом убрать». По приказу барина никто в ночной час не смел выходить на улицу.

Мастер вернулся в избу, когда домашние уже спали. Поглядел он на своих детей, лежавших вповалку на полу, и ему сделалось тоскливо, какое-то смутное предчувствие пало на сердце. Вместе с Нарбутовских, Протопоповым, Балдиными он готовил Шайтанку к бунту.

«Что-то с вами, чада, станется, если наше дело не удастся, да если и удастся, так и то всякое может случиться. Начнут разыскивать зачинщиков. Эх, что будет, то и будь. Так и так пропадать».

В окно легонько постучали. Максим достал из-под скамьи топор.

Жена проснулась.

— Куда ты?

— Не твое дело.

— Максим! От меня, от матери твоих детей, таишь? Недоброе ты задумал.

— Что задумал, то и сделаю.

Он вышел из избы, жена за ним. Увидав блеснувший топор, она обняла мужа и заплакала.

— Не губи нас, Максим.

На мгновение тот заколебался, но тут послышался голос Василия:

— Скоро ты, Матвеич?

Максим оттолкнул жену и быстро зашагал к воротам. Не отошли они и десяти шагов, как их догнал Илюшка.

— Тятя, я с тобой.

— Не смей!

— Тятя, я все знаю, — сказал Илюшка. — Дозволь!

— Сказано, не смей!

В это время в доме Ивана Никешева все уже было готово к выступлению. Чтобы не вызывать подозрений, сходились поодиночке.

Весь этот день Андрей был настороже: у ворот дома дежурили посменно Мясников, Никифор и Кочнев. Вечером он послал Ивана разузнать, не выставлен ли караул у господского дома, и, когда тот доложил, что дом усиленно сторожат, Андрей решил выделить несколько мастеровых в обход со стороны сада.

Люди были вооружены чем попало. Приходилось больше полагаться на смелость и внезапность нападения.

Впервые так сильно болел атаман Золотой не своей болью, но в этом не было ничего горького.

— Все, что будет сделано, валите на меня, — говорил он Нарбутовских и Протопопову. — С разбойника один спрос, с вас другой. Вам жить на месте, а я с товарищами — как ветер в поле.

— Верные твои слова, атаман, — сказал Нарбутовских. — Народ жалеть надо. Кто знает, как дело-то у нас обернется. Может, и нам тоже не жить в Шайтанке.

Андрей взглянул Нарбутовских в умные, глубоко запавшие глаза и понял, что тот давно об этом думал и решил, как следует поступить на худой случай.

Мясников сидел на пороге и чистил ружье, Никифор точил кинжал, Иван Никешев — топор.

— Готовы, друзья? — спросил Андрей.

— Готовы, — ответил Протопопов. — Поднимай людей.

Послышался условный стук в окно — это пришли из Талицы братья Балдины.

— Вот и мы. Обманули караул.

Братья принесли с собой четыре ружья и запас пуль.

Около полуночи подошло еще десятка два мастеровых. Последними пришли Василий Карпов и Максим Чеканов.

— Не спят мужики, будто чувят, — сказал Максим.

— Что же, на святое дело идем — всяк придет на подмогу, — отозвался Нарбутовских и, перекрестившись широко, по-кержацки двумя перстами, поднялся с места.

— Не пора ли, атаман?

Андрей тряхнул кудрями.

— Пора!

Он и сознанием и сердцем ощущал себя теперь главой дела, которое считал самым высоким в своей жизни, и это еще больше придавало ему решимости и уверенности в успехе.

Он не сомневался, что народ их поддержит.

Молча, сжимая в руках оружие, шли заговорщики, прячась в тени изб и заборов. Впереди, по левую сторону улицы, на угоре, в тени елей и берез, возвышался барский особняк.

Ефим Алексеевич вернулся накануне из города невеселый. Все ему претило на заводе, хотя все как-будто было по-старому. Как всегда, после завтрака обошел он фабрики с железной тростью и собственноручно расправился с виновными, но без прежнего удовольствия.

Оставшись один, Ефим Алексеевич пытался разобраться в причинах своего душевного состояния. Напряженно глядел он в открытое окно на буйно зеленеющий сад, на закопченные заводские строения, на блестящее зеркало пруда, и ничего путного не мог придумать.

Послышался осторожный стук в дверь.

— Кто там?

— Это я, Павлушка.

— Что тебе нужно?

Лакей вошел с низким поклоном.

— Не стал бы вашу милость беспокоить, кабы не дело неотложное.

Ефим Алексеевич сдвинул брови.

— Какое еще такое неотложное дело? Говори.

— Да боюсь даже и вымолвить.

Рука Ефима Алексеевича потянулась к трости. Павлушка, захлебываясь от страха, бормотал:

— Беда, барин... Своими ушами слышал... Толкуют мастеровые, будто какой-то атаман Золотой приехал на завод...

— Что ты городишь? Какой атаман?

— Разбойничий, ваша милость... Васька Карпов так и сказал: «Скоро атаман Золотой выметет вас отсюда вместе с барином».

— Что ж ты его на конюшню не свел?

— Я было взял его за шиворот, а он меня в скулу ударил и ушел...

— Сыскать немедленно и пороть!.. И этого Золотого разыскать и привести ко мне, а по ночам караулы выставить на улицах, чтобы никто из дворов не выходил... Где Кублинский?

Павлушка ухмыльнулся.

— Над чем зубы скалишь?

— Боюсь разгневать вашу милость...

— Ну, что еще?

— Алексей Иванович с Екатериной Степановной амурничают.

Ефим Алексеевич схватил трость и что есть мочи ударил верного слугу. Павлушка взвыл от боли. Барин зверем кинулся в апартаменты своей любовницы. Гостиная оказалась закрытой на ключ.

— Катя! Отопри! Почему заперлась?

За дверью послышался шорох, затем звон ключа в замке. Катерина Степановна стояла, смущенная и растерянная.

— От каких воров на ключ запираешься?

— Боязно мне, Ефим Алексеевич, сама не знаю, чего боюсь.

Эти слова еще более усилили тревожное настроение барина. Он велел позвать конюха Мишку и караульного по усадьбе. Это был кривой и полоумный старик по прозвищу Яша Дранный.

— Ночь не спите, — наказывал барин. — Глядите в оба.

Когда, наконец, явился Алешка, Ефим Алексеевич велел ему с завтрашнего дня начать обыск по всем домам, чтобы поймать атамана Золотого.

— Где ты шлялся? — спросил он в заключение.

— В Талице был, наряжал возчиков.

— С чего на тебя такое усердие накатило?

— Всегда стараюсь, ваша милость.

— Поставь сегодня у дома и у конторы стражников и обходчика.

— Будьте благонадежны, ваша милость. Все исполню, как велите.

Глаза у Алешки воровские — никогда не знаешь, врет или правду говорит. А что, если и в самом деле он с Катей был? Кровь прилила к лицу, рука стиснула трость. Так бы и рассек эту кудрявую голову. Но тут же остановила мысль: на кого же можно положиться, как не на него? Если уж этот обманывает, значит, конец.

Вечером Ефим Алексеевич сел за письменный стол и начал строчить прошение в Горную канцелярию, требуя в скорейший срок выслать в Шайтанку полицейскую команду. Кончив писать, он успокоился и пошел на половину Катерины Степановны. Хотелось забыться, рассеять тревожные думы. Его пугало одиночество, и он не знал, как проведет без тоски эту ночь и следующий за ней день. Он лежал с открытыми глазами на пуховой жаркой перине. Рядом с ним безмятежно спала женщина, которую, как ему казалось, он любил. Но в эту ночь ему неприятно было слышать ее ровное дыхание. Он смотрел на ее полуоткрытый рот, на ее пухлые, чуть приоткрытые губы и думал: может быть, сегодня их целовал его холоп Алешка. При мысли об этом в нем вскипела злоба. Он толкнул любовницу в бок. Катерина Степановна проснулась и приподнялась на постели.

— Что случилось, Ефим Алексеевич?

— Ничего. Вижу: изрядно справляешь свое дело — жрать да дрыхнуть, только и умеешь.

С улицы доносился стук деревянных колотушек. Ефим Алексеевич встал с постели и пошел в людскую. Там на сундуке храпел во всю мочь Павлушка Шагин, в кухне спал Евграшка.

Ширяев схватил Павлушку за шиворот и приподнял с постели. Тот глянул на него

дикими глазами: не то человек, не то привидение: барин стоял перед ним босой, в белой ночной рубашке.

— Свят, свят, свят, — бормотал Павлушка, думая, что ему блазнит.

Ефим Алексеевич закатил верному слуге оплеуху.

— Почему не ходил к Ваське Карпову?

— Ходил, — отвечал, потирая щеку, Павлушка.

— Почему, мерзавец, не привел его ко мне, как я велел?

— Привел бы, да самого едва не убили. Пришел, а у него в избе человек шесть мужиков. Схватили меня и принялись бить. Чуть живой приполз.

Павлушка врал: он просто струсил пойти к Карпову.

Ничего не сказал Ефим Алексеевич, необъяснимый страх вдруг овладел им. Ему почудилось, будто кто-то подкрадывается к дому, ныряя меж кустов. Распахнув створки окна, он крикнул:

— Кто тут?

Никто не ответил. Ефим Алексеевич вернулся в спальню и опять посмотрел в окно. Совершенно ясно обрисовалась человеческая фигура, за ней вторая, третья. Уже не слышно было стука колотушек. Кровь застыла в жилах.

— Катя!

Женщина в ужасе вскочила с кровати.

— Мы погибли, Катя! Надо спасаться. Дом окружают разбойники... Катя! Что делать?

Обмякли и дрожали колени, зуб на зуб не попадал. Ефим Алексеевич умирал заживо. Он совершенно растерялся. Только бы не убили, только бы сохранить жизнь!.. Любой ценой!.. Еще не зная, кто хочет на него напасть, он уже готовился отдать все деньги, все драгоценности. Пускай возьмут дом, Катю, только бы пощадили его. И надо же было связаться с этим проклятым заводом! Недаром же называли его Шайтанским... Шайтан-лог — чертово место!

— Алешка! — вскричал он.

Кублинский жил в нижнем этаже. Он пришел, встревоженный, и запер за собой дверь на ключ. Шагин и Евграшка тряслись и плакали от страха.

Колокол, висевший около конторы, сполошно прозвонил три раза и замолк. Кублинский прильнул к окну. По плотине бежали несколько человек, вооруженных ломami. Дом был окружен со всех сторон. Слышались крики у ворот.

— Беда, Ефим Алексеевич! Знать-то, весь завод поднялся.

— Что делать, Алешка?

— Надо обороняться... Есть у вас пистолеты?

— Возьмите в кабинете, в ящике стола.

В дверь постучали.

— Кто там? — спросил Кублинский.

— Отворяй, холуй, а то дверь высадим.

Это был голос надзирателя Нарбутовских.

Ширяев в ужасе бросился к лестнице, которая вела на чердак, следом за ним стала подниматься на вышку Катерина Степановна.

Кублинский встал с заряженным пистолетом около двери.

Раздался сигнальный выстрел, послышался звон разбитых стекол, вспыхнули факелы. Начался приступ.

Мастеровые шли тремя группами. Первая во главе с атаманом направилась к господскому дому с тем, чтобы сразу же начать его осаду. Вторая группа под предводительством Мясникова должна была расположиться в саду, чтобы никого не пропускать в усадьбу. Третий отряд повел Василий Карпов к заводской конторе. Он же по пути должен был снять с работы мастеровых молотовой и доменной фабрик.

Когда подходили к дому Ширяева, встретили обоих караульных.

— Куда собрались такой ордой? — окликнул Мишка Харлов.

Вместо ответа Нарбутовских ударил его прикладом по голове и сбил с ног. Максим Чеканов спихнул бесчувственное тело в канаву.

— Собаке собачья и смерть!

Яшу Драного не тронули.

— Ступай, Яша, спать, мы за тебя покараулим.

Старик покорно побрел домой.

Отряд Карпова подошел к конторе. Один из стражников пытался было ударить в набат, но его тут же связали и заткнули рот кляпом. Остальные разбежались, кто куда. Первыми бросили работу мастеровые молотовой фабрики. Они начали громить заводскую контору. С остервенением уничтожали учетные книги, заводские ведомости и реестры. Перед конторой зажгли костер.

— Горите, наши долги! — кричали работные люди, кидая в пламя конторские дела и кабальные записи. Ветер подхватывал и кружил бумажные листы.

Тем временем осаждавшие господский дом обезоруживали и вязали охрану. Толпа росла и росла. Бежали со всех кондов и мужики и бабы. Андрей гирей взломал дверь. В темноте раздался выстрел.

— Алешка! Сдавайся, барский пес, добром, — крикнул Нарбутовских.

— Что на него, на злодея, смотреть? — Чеканов вышиб из руки Кублинского пистолет. Алексей Балдин всадил ему в живот рогатину. Дворецкий повалился, истошно вопя. Шагин пытался спастись бегством, но его повалили и стали бить смертным боем. Евграшка, встав на колени, просил пощады. Аниска выла во весь голос.

— Ну, как, земляки? — спросил Андрей. — Может, оставим его?

— Он вреда нам не делал, — отвечали мастеровые.

И Евграшку пощадили.

Рабочие ходили из комнаты в комнату, но Ширяева нигде не было. Кто-то догадался, что он на чердаке. Западня, однако, оказалась тяжелой и плотной: сколько ни рубили ее, открыть не смогли.

— Выходи, тиран! — крикнул Андрей. — Не выйдешь — сожжем вместе с домом.

Угроза подействовала. Люк приподнялся, и Ефим Алексеевич спустился, за ним слезла и его любовница. Объятый ужасом, в присутствии грозно молчавших людей, он дрожащим голосом стал просить:

— Не убивайте, отпустите меня.

— Тебя отпустить — все одно, что дикому зверю дать волю, — мрачно ответил Нарбутовских.

— Немало ты кровушки нашей попил...

— По двадцать часов заставлял робить...

— А сколько девок испоганил...

— Небось, сейчас и про палку забыл...

— Волоките его на плотину. Пушай народ его судит.

— А жена его тоже заслуживает суда? — спросил Андрей.

— Нет, баба у него добрая. Худого за ней не замечали. Не обижала нас.

Был предутренний час. Солнце еще не поднялось из-за гор, но земля уже наполнилась светом. На площади около плотины шумела толпа. Мастеровые и крестьяне из соседних деревень собрались судить владельца Шайтанки. Он стоял на плотине на коленях в исподнем белье, по щекам его текли слезы. С ненавистью и презрением смотрели шайтанцы на того, кто еще вчера внушал им страх своим появлением в цехе или на улице. Теперь он был жалок и отвратителен. Мелкая дрожь билась по его телу: однако, боясь расправы, он все еще надеялся, что помилуют, и, плача, просил:

— Православные! Простите за все обиды и притеснения, какие я вам чинил. Пощадите мою жизнь! Отдам все имущество и уеду с завода.

— А что, Ефим Алексеевич, — обратился к нему Андрей, подойдя вплотную, —

будешь ли добр к людям, перестанешь ли мучить их непосильной работой, сечь безвинно?

Ширяеву не дали ответить. Толпа кричала:

— Убей его! Не оставляй живым! Стреляй в него, атаман! Будь он проклят, аспид!

Андрей поднял пистолет и выстрелил в упор. Ширяев ткнулся лицом в землю. Это послужило сигналом. Мастеровые бросились на ненавистного крепостника. Били чем попало, пинали, пока он не перестал подавать признаков жизни. В этот момент от господского дома верхом на коне выехал Мишка Харлов. Он на весь мах проскакал по Проезжей улице, погрозив толпе нагайкой. Вслед ему полетели камни, но Мишка мчался на лучшем жеребце из ширяевской конюшни.

— Ишь, оклемался, сволочь, — промолвил Василий Карпов.

— Жаль, что палача живым выпустили, — сказал Нарбутовских. — Теперь он в городе поднимет тревогу.

Катерину Степановну отправили в Екатеринбург пешком. Она шла по улице мимо толпы, подобрав длинный шлейф.

— Подними выше хвост, ширяевская шлюха, — кричали бабы, — авось, легче будет шагать до города.

Муку, соль, крупу из провиантских магазейнов раздали особо нуждающимся и многодетным.

Восстание перекинулось в Талицу, Подволошную, на медный рудник. Взбунтовался Верхне-Шайтанский завод и даже деревня Нижняя на Чусовой.

Если бы атаман Золотой видел «сердечным оком», что творится на родной земле, он бы с радостью узнал, что не одни шайтанцы восстали, что кипит гнев народный по всей России: крестьяне земель Долматовского монастыря ведут упорную борьбу со своими притеснителями, в Яицких степях по казачьим станицам тоже идет смута, а посчитай, сколько бунтов в самой России: в рязанских, нижегородских, тульских и прочих уездах и провинциях. Одного не доставало — согласия и единства. Всяк стоял сам за себя.

А в Санкт-Петербурге при дворе императрицы гремели балы по случаю добрых вестей с фронта; армии Румянцева и Суворова одерживали одну за другой блистательные победы над врагом. Слава о доблести русского солдата летела по Европе.

Пока над столицей взвивались огни фейерверков и на придворных балах приседали в контрдансах дамы и кавалеры, в курных крестьянских избах, где дым густой серой пеленой висел под потолком, черные мысли мешали заснуть хозяевам.

Крепостная крестьянская Русь ждала своего вождя.

Мишка Харлов настегивал жеребца, у которого уже клубилась пена под удилами. Он остановил коня у желтого здания Горной канцелярии и, взбежав по лестнице на второй этаж, попросил доложить.

— По какому случаю? — хмуро спросил дежурный капрал.

— В Васильево-Шайтанском заводе бунт! Убили господина Ширяева.

Капрал тотчас отправился рапортовать начальству. Мишку впустили без задержки. Принимал его член Горной канцелярии господин Башмаков.

Когда Мишка увидел его сердитое, как будто закаменелое лицо, он аж затрепетал в холопском умилении: точь-в-точь барин Ширяев, даже авантажней.

— Докладывай, — произнес господин Башмаков деревянным тоном.

— Так что, ваше благородие, в Шайтанке поднялись мастера, а с ними атаман Золотой...

— Кто?

— Разбойник, ваше благородие. Контору разорили, господина Ширяева выволокли в одном исподнем белье и казнили.

— Казнили?

— Точно так. Атаман Золотой застрелил его.

— Кой черт! «Застрелил»? Ты, каналья, подумал, о ком речь ведешь? Это не заяц... «Застрелил»... А вы где были?

— Ваше благородие, меня тяжело избили и, только притворись мертвым, я спасся от рук злодеев...

— Ты сделал, что надлежало, — раздумчиво промолвил Башмаков. — Ступай. Скажи, что я приказал дать тебе провиант и... ступай! — крикнул он.

Мишка скрылся за дверью.

Башмаков отправился докладывать полковнику Бибикову. Было решено двинуть на Шайтанку воинские команды с ближних заводов — Ревдинского и Билимбаевского.

Труп Ширяева, неузнаваемо обезображенный, лежал на плотине в луже крови, и не было в Шайтанке человека, кто бы не прошел мимо него с гадливостью, как проходят мимо раздавленной змеи.

— Каково-то тебе будет на том свете, — мстительно говорила Парасковья Карпова, — а на этом мы с тобой в расчете. Надо бы тебя было не один день на углях жечь.

Марина Протопопова, красивая, стройная женщина, с печальным бледным лицом, увидав труп своего насильника, вскрикнула и закрыла глаза руками.

— Бабоньки! Ужели оставим место нашего позора в сохранности?

Парасковья почти бегом кинулась к господскому дому, за ней побежали заводские женки. Они выломали дверь в «храм любви». Сорвали со стен срамные картины, вдребезги разбили графины и фужеры. Каждая вспоминала страшные и постыдные часы, проведенные в этом вертепе.

Оставив одни голые стены, а на полу осколки посуды и лужу вина, заводские женки ушли из «храма любви».

Восставшие по всем дорогам выставили караулы.

— Тебе бы по праву поселиться теперь в господском доме, — предложил атаману Никешев.

— Нет, Иван, лучше я у тебя останусь или пойду в Талицу к Балдину.

— Братец велел в гости тебя звать, — услышал он женский голос.

Аннушка Нарбутовских стояла перед ним, потупив глаза.

— Спасибо, Аннушка, непременно приду.

Вечером у Нарбутовских в большой и светлой горнице собрались Андрей, Мясников, Никифор, Никешев, Василий Карпов, Иван Протопопов и братья Балдины. Одним словом, все вожаки восстания. Не было только Чеканова и Бажукова, они стояли в карауле.

— Надо нам обсудить, что дальше делать, — молвил хозяин. — Каков будет ваш совет?

— Большое мы дело сотворили, только за него и ответ придется держать большой, — ответил Иван Протопопов, — екатеринбургские власти пошлют против нас воинскую команду. Этого непременно надо ожидать.

— Что же, по-твоему, предпринять следует?

Протопопов молчал, тяжело дыша. Горячий Василий Карпов выкрикнул:

— Будем стоять до последнего! Насмерть будем биться.

— Так-то так, — заметил Протопопов, — да надо рассчитать и о будущем поразмыслить.

— Я думаю, — предложил Андрей, — не худо бы поднять соседние заводы: Ревду, Билимбай, Серги.

— Посланы туда люди, атаман, — сказал Нарбутовских.

Тут Андрей понял, что здесь, в Шайтанке, не он все-таки главный, бее обдумано и решено без него.

Завод не останавливался и продолжал работу.

Не стало побудки, но мастеровые, как при господине, выходили на урок в свой час.

Среди работных людей шли разговоры о будущем.

— А дело-то наше не до конца завершено.
— Ась?
— Я так думаю: сколь мы ни хорохоримся, придут солдаты — и всем нам будет каюк.
— Ну, это еще поглядим. Нарбутовских отпустил приписных...
— Не уж по дворам?
— По дворам.
— Добро мужикам!.. Ты гляди, народ совсем другой стал. Песни поют.
— Свободу почуяли?
— Свободу.
— А не будь атамана Золотого...
— Это конечно...
— Вот уж неделя, как без хозяина живем, а завод действует.
— Ништо!.. Заводское действо само по себе, а избы наши — сами по себе.
— Покуда атаман Золотой с нами, живем.
— Парень он хороший, да только ему один путь, нам — другой.
Между тем Андрей переживал медовый месяц своей славы.

Достаточно ему было выйти на улицу, как еще издали, увидя его, мастеровые снимали шапки.

— Здрав будь, атаман!

Ласково улыбались девушки, а заводские мальчишки ходили за ним по пятам, не спуская с него восторженных взглядов. И днем и вечером в избу Никешева заходили мастеровые, кто побеседовать, кто просто посидеть, поглядеть на атамана, послушать его.

— Вот когда ты Золотым-то по-настоящему стал, — сказал как-то Андрею Мясников. — За такое и жизнь не жалко отдать.

— И отдадим, — ответил Никифор.

Он важничал и гордился своей близостью к атаману.

— Мы с Золотым-то с малолетства возросли в нужде и с той поры рука об руку идем, — говорил он, сидя в гостях то у одного, то у другого мастерового. — Без меня он ничего не делал, все моего совета спрашивал. Ведь в Шайтанку-то я его надоумил идти...

Услышав эту похвалу, Мясников вполголоса предупредил приятеля:

— Будешь болтать — атаману скажу.

— Экой ты, уж и пошутить нельзя, — смущенно пробормотал Никифор.

Нарбутовских распорядился выставить заставы на двух дорогах. На ревдинской встали братья Балдины, Максим Чеканов со своими подручными — Никешевым и Карповым. На возвышенных местах были выставлены дозорные.

— Чтобы ни проходу, ни проезду, — предупредил Нарбутовских.

— На нас можешь положиться, умрем, а не пустим, — ответил Максим.

Спокойно прошел день, другой, третий.

На четвертый день после обеда раздался сигнальный свист. Максим Чеканов оглянул поляну: из-за кустов с противоположной стороны выходили вооруженные чем попало рабочие, подгоняемые солдатами. Чеканов крикнул:

— Ревдинские! Не трожь нас, и мы вас не тронем.

Не встречая сопротивления, ревдинцы пошли через поляну. Шли не очень уверенно, оглядываясь друг на друга. Впереди вышагивал заводской приказчик, а сзади поблескивали штыки ревдинской воинской команды.

— На кого вы, сволочи? — гаркнул Максим, — на своих братьев?

Илюшка, как тень, ходивший за отцом, кинул камень, да так метко, что попал предводителю отряда прямо в грудь. Тот выругался и, вытащив из-за пояса пистолет, стал целиться в Илюшку, но тот уже исчез в кустах. Он побежал за Иваном Никешевым. Иван переобувался, сидя на траве у прясла поскотины.

— Дядя Иван! Наших бьют.

— Наших?

Грянул выстрел. Иван Никешев вскочил, босой на одну ногу, выхватил из прясла жердь и побежал на поле боя. Он подоспел в ту самую минуту, когда ревдинская команда всей силой навалилась на шайтанцев. Дрались чем попало: ослопами и кулаками, камнями и кусками железа.

При виде остервенелого Ивана Никешева, бежавшего с жердью, ревдинцы оторопели. А когда жердь засвистала над их головами, начальник отряда побежал первый. За ним пустились наутек и остальные, едва лапти с ног не спадывали.

Илюшка с пронзительным свистом бежал впереди всех. Версты две гнали ревдинскую команду шайтанцы да так и не могли догнать.

— Суньтесь еще раз — огненным боем встретим, — грозили они убегающим.

Вторую победу одержали на следующий день. По дороге из Билимбае, где тоже была выставлена застава под командой Мясникова, в Шайтанку двинулась команда из билимбаевских мастеровых. Они шли явно нехотя, понукаемые полицейскими служителями.

— Братцы! — кричал им Мясников. — Бросьте эту затею, ворочайтесь на завод.

— Бунтовщикам — лютая казнь! — орал полицейский капрал, возглавлявший наступление, размахивая тесаком. — Вперед!

Но тут случилось то, чего он никак не ожидал: трое парней из его команды бойко перебежали поляну и крикнули шайтанцам:

— Мы с вами!

Тут человек десяток кинулись вспять по билимбаевской дороге, бросая на бегу оружие.

Полицейский служитель глянул направо, глянул налево и понял: с этим народом бунтовщиков не победишь.

Мясников не стал дожидаться:

— За мной, братцы!

Все тридцать мастеровых, бывших в его распоряжении, дружно ринулись в атаку. Билимбаевцы бросились врассыпную.

— Кланяйтесь вашим! — крикнул вслед Федот Бажуков, — скажите, как наши машут.

Несколько билимбаевцев были пойманы и по добровольному согласию зачислены в отряд Мясникова.

Илюшка Чеканов ходил среди ребят героем. Еще бы, все знали, как он зачинал бой на талицкой елани, не знали только, что в тот же день Максим высек своего большака.

— Что ты, варнак, наделал? Из-за тебя сыр-бор загорелся. Из-за тебя меня едва не застрелили.

Илюшка молча вынес порку. Зато после он ходил по Проезжей улице, с гордостью поглядывая по сторонам. Знакомые девахи смотрели на него с восхищением. Илюшка думал об атамане Золотом и очень хотел быть похожим на него.

Максим Чеканов жаловался:

— Скажи, совсем парень от рук отбился. В самый огонь лезет.

— Не тужи, Максим, — сказал столетний дед Архип, — они, молодые-то, дале нас видят, боле нас могут.

За горы садилось ласковое летнее солнце. По Проезжей улице ходили мастеровые.

— Ну, Прокопич, дождались светла праздничка?

— Дождались.

— Каково тебе теперь?

— Ладно жить начал: и крупы и мяса вдосталь, и мука в сусеке.

— А что, ежели конец нашему счастью придет?

— Тогда подумаем.

— Эх ты, голова, — тогда думать-то поздно будет.

Эти речи слышал Андрей, и сердце его сжималось. Что делать? Никто из посланных в Ревду и Билимбай не воротился. Надежда еще не покидала его, но сомнение шевелилось в

душе: вдруг оба лазутчика пойманы. Не жаль было себя, жаль этих людей, трудолюбивых и несчастных.

В воскресенье утром привели пятерых пленных. Трое были из Билимбая, двое свои, шайтанские.

Как обычно, Нарбутовских и Чеканов расследовали такие дела.

— Билимбаевских отпустить надо, — решил Нарбутовских, — такие же подневольные, как и мы, а эти двое — стражники и собаки не из последних. Этих на Шишмарево урочище свести, камень на шею и в воду.

— Зачем так далеко, — усмехнулся Максим. — Пруд вон он, рядом.

— Еще воду в пруду поганить!

Стражников повели на Шишмарево урочище, а билимбаевским мастеровым объявили, что они свободны. Но мужики не уходили.

— Так вы уж нас у себя оставьте. Куда мы теперь?

— Что ж, оставайтесь, коли есть охота, — разрешил Нарбутовских.

По случаю воскресного дня было гулянье. Площадь перед конторой пестрела сарафанами и платками. Молодые кержачки достали из сундуков самые лучшие, самые праздничные платья.

— Как цветы на лугу, — весело подмигнул Иван Никешев. — Вот где невесту-то выбирать.

— Обождать придется с женитьбой-то, — серьезно заметил Нарбутовских. Он лучше прочих понимал опасность положения и знал, что многим несдобровать.

Девять дней Шайтанка не знала над собой хозяйской плети. 17 июня из Екатеринбурга в завод послана была воинская команда под начальством прапорщика Кукарина. Команде придали жителей с заводов Верх-Исетского, Березовского, Ревдинского, Билимбаевского и Невьянского, по пятьдесят человек от каждого, снабженных от казны оружием.

Весть об убийстве заводовладельца и его подручных не на шутку всполошила горное начальство. Екатеринбургская контора судебных и земских дел предписала всем заводским конторам принять участие в розыске виновных.

Специальный указ гласил:

«Если ж кто разбойнического атамана или кого из разбойников поймает и приведет, то таковым дается награждение из казны — за атамана 30 рублей, а за каждого разбойника по 10 рублей; сверх того старостам и всем обывателям объявить, что когда канцелярия усмотрит их нерадение в поимке таковых злодеев, то и с таковыми будет поступлено по всей строгости законов».

Еще до того, как воинская команда заняла завод, зачинщики восстания — Нарбутовских, Чеканов, Никешев, братья Балдины — предупредили Андрея.

— Ты, атаман, уходи, схоронись где-нибудь в лесах. Тебя первого к ответу потребуют. Спасибо, что заступился за нас. Мы тебя тоже не оставим. О хлебе и мясе не беспокойтесь — будете сыты.

Простился атаман с жителями Шайтанки и ушел в глухие ущелья между гор. Теперь отряд его почти сплошь состоял из шайтанцев.

Никешев, Нарбутовских, Чеканов и Протопопов намеревались на другой день вечером присоединиться к отряду, но опоздали. Эскадрон драгун ворвался в Шайтанку и закрыл все ходы и выходы из завода. По улицам разъезжали патрули.

Началась полицейская расправа с участниками восстания. В первую же ночь арестовали Нарбутовских, Чеканова, Протопопова, Балдиных. Когда дошла очередь до Никешева, Иван оказал сопротивление: разбил головы двум полицейским служителям и разогнал остальных. Пришлось выслать для ареста чинов воинской команды. Избитого и связанного, посадили его в заводскую чижовку.

— Достанется вам, бунтовщикам, каждому на орехи. Отведаете кнута, — грозил Кукарин.

Вскоре на завод явился новый владелец — младший брат убитого и сразу же принялся за розыски имущества Ширяева. Составил подробную опись всему до последней мелочи.

— Дождались другого злодея, — говорили шайтанцы.

Заводских работ не начинали. Больше половины мастеровых оказались в подозрении, были арестованы и препровождены в город — одни за разгром конторы и господского дома, другие за оставление работ и «незащищение господина своего».

Атаман Золотой скрывался на горе в пятнадцати верстах к востоку от Верхне-Шайтанского завода. Отсюда, с вершины, открывался вид на окрестные горы. Они дыбились одна за другой, полные величавой силы. Совсем вблизи мрачно чернела Волчиха, самая высокая из гор Среднеуралья.

Погода стояла сухая. Камни накалялись от солнечного зноя. Сладко пахло земляникой. Розовые цветы шиповника протягивали нежные лепестки.

Отряд атамана Золотого беспрерывно пополнялся. Однажды пришел Илюшка Чеканов с отцовским топором за поясом.

— Кто такой? — спросил его Мясников.

— Илья Чеканов, — гордо ответил парнишка.

— А за какой надобностью пришел сюда?

— Примите в отряд. Тятку под караулом в город увезли.

Федот Бажуков не выдержал.

— Сколько тебе лет-то, сопляк?

— Восемнадцать.

— Врешь, пятнадцати нет.

Парнишка, однако, не терялся.

— Хоть и пятнадцать, а драться умею.

Андрей засмеялся и обнял Илюшку за плечи.

— Я такой же был, как ты. Принимаю тебя, Илюха, в отряд. Только, чур, не плакать о мамке.

— Не буду, — буркнул в ответ Илюшка.

На следующий день явился еще один, этот был постарше и с пистолетом, который он сумел стащить в господском доме. Андрею понравилось, что новенький пришел с оружием.

— Нам такие надобны. Умеешь стрелять?

Бажуков шепнул:

— Не надо бы его принимать. Господские пятки лизал да, сказывают, и наушничал. Неверный человек, одним словом. Ему и прозвище — Ботало.

Атаман заколебался, но Ботало, насыпав порох на полку, взвел курок и, почти не целясь, выстрелил в галку, сидевшую на соседней ели. Та кувыркнулась на землю.

— Bravo! Добрый стрелок! Беру в команду.

Через день заводские женки приносили отряду провизию.

— Долго ли будем здесь стоять, Андрей? — спрашивал Мясников.

— До тех пор, пока не поднимем соседние заводы.

А опасность надвигалась неумолимо и быстро, о чем и подумать не мог атаман.

Накануне рокового дня исчез Ботало. Бажуков донес об этом Андрею.

— Упреждал тебя. Не поверил. Теперь жди беды. Такой не только нас, отца родного продаст, не чихнув.

— Будем настороже.

Не знал он, что уже напали на его след, что крупная воинская команда окружила гору.

Однажды люди его отдыхали после обеда. Примостившись в тени молодой сосны, спали Никифор Лисьих и Василий Карпов, вместе с Федотом Бажуковым присоединившийся к отряду. Кочнев стоял на карауле, Мясников бодрствовал. Всегда серьезный и

неразговорчивый, он сегодня был особенно угрюм.

— Добрались до шайтанских, доберутся скоро и до нас. Надо думать, атаман, что будем дальше делать.

— А что, по-твоему?

— По-моему, уходить надо подальше от завода. Розыскные команды отовсюду высланы. Обложат, как медведя в берлоге.

— Уйти отсюда не хитро, только здесь у нас поддержка и помощь, другого такого завода не найдешь.

Андрею не хотелось покидать место, где на него каждый смотрел как на избавителя. Отряд его получал довольствие, и здесь можно было укрыться от погони. Но вестей с соседних заводов не приходило.

Мясников хмурился.

— Мало у нас вооруженных. Как бой примем?

— Каждый день все новые приходят.

— Что толку — приходят не с ружьями, а с топорами да рогатинами. Супротив воинской команды не выстоять.

Солнце ласково пригревало, и после сытного обеда, принесенного из Талицы, одолевала дрема.

Андрей проснулся от резкого свиста и крика.

— Вставай, атаман! Беда! — кричал Мясников.

Андрей мигом вскочил, схватил лежавшую рядом саблю.

— Что случилось?

— Розыскная команда наступает.

Закатное солнце алело сквозь ветви сосняка. Из-за кустов по склону горы тут и там поднимались вооруженные люди. Никифор спешно заряжал ружье. Андрей мгновенно овладел собой. Скомандовал:

— Отходить к Мокрому логу!

— Со всех сторон обступили, — сказал Мясников. — Надо пробиваться... Берегись, атаман!

Грянул выстрел, и Андрей увидел, как его верный есаул пошатнулся и, не простираясь, упал на землю, сраженный насмерть.

Оглушительно хлопнуло еще несколько выстрелов. Острая боль в руке заставила Андрея выронить саблю. Тотчас же из кустов выбежало человек десять, и началась схватка. Раненому Андрею связали руки за спиной.

Мимо провели обезоруженных Кочнева, Василия Карпова и Федота Бажукова.

Начальник розыскной команды велел всех пленных вести на дорогу.

— А этого положите на подводу, повезем в город, — распорядился он, указав на мертвого Мясникова.

Из всего отряда атамана Золотого спасся только Илюшка Чеканов.

Андрей, бледный от потери крови, под конвоем спускался вниз в ущелье, уже окутанное вечерней мглой. В закатном мареве, алое, как кровавая рана, солнце садилось за горы, и небо на западе казалось медно-красным, как зарево пожара.

Горько и обидно было атаману, что так врасплох застали его враги. Горько и больно было и за себя и за товарищей. Он знал: не миновать жестокой казни.

Ботало шел позади всех: он рассчитывал получить по крайней мере рублей сто от екатеринбургских властей.

Атамана привезли в заводскую контору, заковали в ручные и ножные кандалы и вместе с убитым Мясниковым повезли в город. Четырнадцать солдат под командой унтер-офицера конвоировали подводу.

Пленных привезли в канцелярию Главного управления сибирских, оренбургских и казанских заводов, оттуда в контору судных и земских дел. Конторе было указано:

«Раненого атамана велеть осмотреть и пользоваться лекарю под крепким караулом и о состоянии его всегда канцелярии рапортовать, а убитого выставить здесь, на месте публичного наказания, и, привязав к столбу, держать тут же до завтрашнего дня, прибав лист со следующей надписью: «Сей злодей, разбойник, изверг рода человеческого, хотя и ушел от достойного по законам наказания, но получил себе достойную злодея смерть и выставлен теперь через палачей на место казни для народного позорища». А потом зарыть уже в лесу, в земле, через палачей же».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Рыжанко не разбойник был, зачем разбойник? Он рабочих защищал».

«Уральский фольклор».

Атамана содержали в госпитале под строгим караулом. Каждое утро лекарь прикладывал к ране примочку, и, сделав перевязку, шел докладывать начальству о состоянии здоровья заключенного.

В палате, кроме Андрея, лежали еще двое.

— За что тебе такая честь? — спрашивал один из них.

— За доброе дело, — отвечал Андрей, — за то, что злейшего изверга жизни лишил.

— Кто же тебе такое право дал, чтобы судьей над людьми быть?

— Народ дал мне такое право.

— Глупец ты! Народ — что трава. Разве могут люди подлого состояния о каком-то праве думать, а тем паче другим его давать?

Андрею не хотелось продолжать разговор. Эти люди были ему глубоко чужды. Думал он о своих друзьях. Он не знал, где они заключены. Наверно, томятся в остроге, ожидая казни.

Залечить рану ему не дали. Молчаливый солдат повел его в контору судебных и земских дел. Впервые увидел Андрей тех, в чьих руках сейчас находилась его судьба. Члены присутствия в мундирах, шитых золотом, с любопытством глядели на грозного атамана, посмеявшегося поднять руку на самого завододержателя. Видимо, ожидали увидеть матерого разбойника-богатыря, а перед ними стоял золотоволосый, синеглазый молодой человек с прямым и открытым выражением лица.

Последовали обычные вопросы: кто такой и откуда, сколько лет, бывал ли у святого причастия...

Андрей не запирался. Сказал, что живет по чужому паспорту. Рассказал о том, как напал на барки по Каме и Чусовой.

Толсторожий, с свинными глазками судья промолвил злым голосом:

— Раненько же ты пошел по большой дороге. Вот она куда тебя привела... Кто твои соумышленники?

Андрей с презрением посмотрел на него.

— Соумышленники мои либо побиты, либо разбежались, куда глаза глядят. А тех, что со мной взяли, вы знаете.

— Врешь, вор! Выдавать не хочешь? Ты еще нам скажешь, с кем господина Ширяева убивал.

Андрей молчал.

— Небось, заговоришь, как на дыбу вздернут. Позовите-ка Мефодю.

Пришел палач, высокий жилистый мужик с блеклыми, неживыми глазами.

— Пойдем, — сказал он, тронув Андрея за плечо.

Члены присутствия также поднялись с мест. Они спустились по темным каменным ступеням в подвал. Тусклый свет слабо проникал сквозь маленькие слюдяные оконца.

Могильным холодом веяло от стен, запачканных пятнами крови. Андрей увидел привязанные к перекладине под потолком веревки с кольцами, кнут, щипцы для вырывания ноздрей и содрогнулся.

Палач сорвал с него рубаху и всунул его руки в кольца. Когда он подтянул веревки, Андрей застонал: обе руки были мгновенно вывихнуты. Холодный пот выступил на лбу.

— Скажешь?

Андрей побелел, но молчал.

— Сними, Мефодя.

Палач снял Андрея с дыбы и привычными движениями вправил суставы. Андрей едва удерживался на ногах. Раненая и еще не зажившая рука горела, как в огне.

Сколько ни бились судьи, они не вырвали у него ни одного слова. Снова отвели в госпиталь.

— Угостили, видать, ладно, — сказал один из больных.

Чувство глубокого одиночества овладело Андреем. Если бы с ним были его товарищи, шайтанские мастеровые!.. У него начался жар. Пришел лекарь и руками развел.

— Ты меня, друг, не подводи. Начальство велело тебя пользоваться, чтобы казнь в полном здравии принял.

— Оставь меня, палач, — сказал Андрей.

В горячечных видениях проходили перед ним события его недолгой жизни, люди, встречи с которыми запечатлелись в его сознании. Снова видел он атаманшу Матрену — гордую, сильную, красивую. Но уже бледнел этот образ и его сменяла другая женщина — кроткая, самоотверженная. Что с ней, с его Дуняшей? Помнилось ее лицо в минуты расставанья, полные слез глаза, ее объятия.

Темно и тихо в палате. Чьи это шаги он слышит? Кто-то подходит, легкий, незримый, заговаривает с ним. Да неужели это Блоха, а может, дед Мирон? Безликий, он шепчет, точно трава шелестит, в самое ухо.

— Прими казнь за правое дело. Пусть имя народного заступника, мстителя за голутвенных людишек станет твоим именем. Пусть в последний твой час будут тебе услудой любовь и память мирская. Песни о тебе будут петь. Отцы и матери станут рассказывать детям о твоём подвиге. И вырастут дети и поднимутся грозой на супостатов-заводчиков. Придет время — и по всей земле русской победит правда, а злодеев-господ и корню не останется...

Слушает атаман Золотой эти слова, как самое заветное, о чем думал тогда, когда дал в душе клятву поднимать оружие только за обездоленных.

Звон кандалов вернул его к действительности. Страшная палата, где его лечили, чтобы затем жестоко казнить, была темна, как могила. За окном шевелились мокрые сучья, и деревья, по-весеннему голые, сиротливо ожидали зимы. Голова пылала, томила жажда, но дверь была плотно закрыта, а за ней стоял караульный солдат.

Через месяц Андрея вздернули на дыбу второй раз. За столом сидел коллежский асессор Башмаков. Он встал из-за стола и, когда Андрея бросили на плаху, пнул его тяжелым ботфортом в бок.

— Будешь говорить?

Андрей молча отвернулся.

— Я тебя заставлю кнута отведавать.

Били кнутом жестоко. Спина вспухла и почернела. Андрей без памяти лежал на плахе. Ему дали понюхать спирт.

— Крепок разбойник, — сказал Башмаков, — Недаром в атаманах ходил. Сколько же ему лет?

— Двадцать четыре.

— Двадцать четыре — и такой злодей!

Ничего не добившись, Башмаков распорядился увести Андрея в острог и запереть в отдельную камеру.

В камере было холодно. Сверху, почти у самого потолка, в узкое зарешеченное окно едва пробивался солнечный луч. Он напоминал о воле, обо всем, с чем неминуемо скоро нужно было прощаться. Жалея свою молодость, свои двадцать четыре года, прожитые столь бурно, он спрашивал себя: неужели не могла его жизнь сложиться иначе? Почему только господа-дворяне могут пользоваться всеми благами? А он, Андрей Плотников, прозванный в народе атаманом Золотым, имеет сейчас только одно право — умереть под кнутом палача.

Была минута слабости, он начал свивать из рубахи жгут, чтобы повеситься. Но это затемнение сознания длилось недолго. Представив себе своих товарищей, заводских мастеровых, он твердо решил умереть у них на глазах так, чтобы каждый увидел для себя пример, а оставшиеся в живых чтобы на всю жизнь запомнили эту казнь и отомстили.

Год тянулось следствие. Людей сажали в острог, допрашивали, отпускали и снова брали под стражу. Угрозами, пыткой старались вырвать признание. Некоторые не смогли вынести мучений и рассказывали о себе и о товарищах.

Наконец, следствие было закончено и установлены главные виновники: Плотников Андрей, Нарбутовских Ефим, Чеканов Максим, Лисьих Никифор, Кочнев Филипп, Никешев Иван, Карпов Василий, Бажуков Федот, Алексей и Пахом Балдины, Протопопов Иван.

Каждому было назначено сто двадцать пять ударов кнутом, а Никешеву за сопротивление при аресте пятьдесят ударов дополнительно.

Наказание решено было производить в нескольких местах: на месте убийства Ширяева, на Верхней и Проезжей улицах — возле домов Никешева и Чеканова. Тем, кто после наказания кнутом останется в живых, приказано было вырвать ноздри, поставить позорные клейма на лбу и щеках и сослать в Нерчинск на каторжные работы навечно.

По приказу Горной канцелярии в Шайтанку пригнали рабочих с соседних заводов, чтобы, видя казнь товарищей, они сами страхом казнились и впредь неповиновения господам не оказывали, а тем паче, чтобы на жизнь и имущество их не покушались.

Плотной живой стеной стояли мастеровые, их жены и малолетки из Верх-Исетского, Невьянского, Сысертского, Березовского и других заводов. Стояли угрюмые, безмолвные.

Накануне в Шайтанку прибыла рота солдат. На всех местах казни были вырыты столбы. Ровно в девять часов утра пропела флейта, ударили барабаны. На улицу из заводской конторы стали выводить осужденных.

Они шли голые до пояса. Каждому отдельно читали приговор, и тотчас же с двух сторон взлетали кнуты. Солдаты стояли в две шеренги вдоль улицы, чтобы не допустить возмущения и беспорядков.

В толпе рыдали родные и близкие приговоренных, плакали и незнакомые, пришедшие из дальних заводов.

Столетний старик, стоявший без шляпы в переднем ряду, крестил наказуемых раскольничьим крестом и читал отходную молитву.

— Страдалцы вы наши, за что такую муку мученскую принимаете? — голосили бабы.

Григорий Рюков, у которого была арестована жена, как сестра Нарбутовских, смотря на казнь, вполголоса ругал палачей. Сосед дернул его за рукав:

— Потише, парень, как бы у столба и тебе не очутиться.

— Им еще припомнятся эти столбы, — ответил Рюков, сжимая кулаки.

Возле плотины произошло замешательство. Иван Никешев, уже получивший половину полагавшихся ему ударов, в ярости разорвал кандальную цепь, вырвал кнут у палача и с размаху ударил его по лицу. Несколько солдат бросились на него и закололи штыками.

Вид остальных казненных был страшен. Истекая кровью, они падали, их поднимали вновь и тащили дальше к следующему месту казни. У Нарбутовских висел на щеке вырванный глаз. Иван Протопопов кричал истошным голосом, вздрагивая всем телом. Мучительно напрягаясь, желтый, как мертвец, брел, истекая кровью, Чеканов.

Андрея вели первым. Он знал, что живым его не оставят. При виде сообщников сердце его дрогнуло от жалости: худой, как скелет, едва шагал Никифор, и столько было смертной

муки у него в глазах, а губы шевелились без крика. Уже волокли Кочнева, голова его беспомощно моталась. Андрей, хотя и чувствовал, что его покидают силы, оборачиваясь, тихим голосом подбадривал товарищей, чтобы умерли они, как подобает борцам.

Он слышал вопли женщин, видел устремленные на него безумные залитые слезами глаза. Солдаты едва сдерживали напор толпы.

— Что вы, окаянные, делаете? Насмерть забиваете? — раздавались тут и там негодующие возгласы.

На крыльцо конторы вышел Сергей Ширяев, в руках он судорожно сжимал железную трость брата. Рядом с ним стоял Михайло Харлов, назначенный надзирателем вместо Нарбутовских.

Андрей с трудом, напрягая остатки сил, добрел до последнего столба. Дыханье со свистом вырывалось из его груди. Он шатался. Несколько ударов кнута сбили его с ног. Палачи привели его в чувство и привязали к столбу. Андрей открыл глаза и, запрокинув голову, глянул на небо. На какой-то миг увидел он чистую небесную синеву и белые комья облаков. И это было последнее, что он увидел. Искромсанное кнутом тело бессильно повисло на веревках, изо рта потекла струйка крови.

Сто тридцать четыре человека подверглись наказанию. Многих тут же на месте забили кнутом до смерти. Тридцать один человек ушли на вечную каторгу в сибирские рудники. Не щадили и женщин. Кнутом наказаны были жена Максима Чеканова, Аксинья Балдина, Анна Нарбутовских и беременная Марина Протопопова.

За оставление заводских работ семьдесят шесть мастеровых были высечены плетью.

Сиротливо стояли заколоченные избы в Шайтанке, в Талице, в деревне Сажиной. Хозяева их или лежали на заводском кладбище, или добывали руду в далеком Нерчинске.

Снова заводской колокол возле конторы будил утреннюю смену, по-прежнему дымили фабричные трубоставы, к, вдыхая угольную пыль, везли крестьяне уголь из куреней для огневой работы. Снова гудела вода в водосливных колесах, бухали молоты.

Все как будто установилось по-старому. Только память об июне 1771 года нельзя было уничтожить. Остались и родственники осужденных и их товарищи. Добром поминали надзирателя Нарбутовских, конторщика баню Протопопова, мастера Чеканова и первого по заводу силача Ивана Никешева. А чаще всех поминали атамана Золотого, того, кто освободил Шайтанку от злодея Ширяева. И кто называл его разбойником, тех осуждающе поправляли:

— Какой же это разбойник, коли за работных людей заступался?

Прошел год, и как-то глухой осенью в слуховое окошко избы Нарбутовских, где жил сейчас Григорий Рюков с женой, постучался странник. Он попросился на ночлег.

— Заходи, — разрешил Григорий.

Старик неторопливо разделся и разулся.

— Видать, долгий путь прошел? — спросил Григорий.

— Долгий, да еще дальше надлежит пройти. Здесь ведь жил Ефим Нарбутовских, великомученик?

— Здесь, дедушка. Казнили его лютые палачи — царские чиновники да заводские начальники.

— Так-так... пусть еще пожируют, поиздеваются над людьми, недолго им осталось кровь крестьянскую пить.

— А что? — насторожился Григорий, почуявший в словах старика какую-то большую правду.

— Благоую весть несу: объявился в Яицких степях народный царь, милосердный к простому люду, немилосердный к господам, кои терзают нас.

— Давно надо такого царя, — от всей души сказал Григорий. — Пусть идет к нам, все за него встанем.

Зима 1774 года стояла лютая. Вороны замерзали на лету, а им поживы было нынче

много: шла великая крестьянская война, пылали помещичьи усадьбы, по деревням и заводам неслась весть о милостивом и справедливом мужицком царе, жалующем вольностью простой народ.

Екатеринбург переживал осадное положение. Крепостная стена и вал вокруг города были подновлены, ров углублен и впереди него выставлены рогатки. На бастионах зловеще поблескивали медные пушки и единороги. Рядом кучами были сложены ядра. Усиленный караул ходил по улицам, на валу дежурили пушкарки. Для устрашения колебавшегося городского населения на Соборной и Хлебной площадях были воздвигнуты виселицы. Третьи сутки коченели на одной из них тела двух пугачевских лазутчиков, пойманных в Арамилской слободе. Члены Горной канцелярии ездили в Белоярскую, Пышминскую, Калиновскую и Тамакульскую волости для «пресечения разбойных толков о ворах», но всюду видели «шатание умов», и хотя крестьяне, слушая екатеринбургских чиновников, даже поддакивали им, однако тайком выбирали поверенных, чтобы доподлинно узнать, близко ли народное войско.

Заводские и сельские грамотеи читали передаваемые из-под полы «прелестные письма». В одном из них говорилось:

«Сколько во изнурение приведена Россия, от кого же — вам самим то небезызвестно. Дворянство обладает крестьянами, но хотя в законе божием и написано, чтоб они крестьян так же содержали, как и детей своих, но они не только за работника, но хуже почитали псов...»

Достаточно было нескольким всадникам въехать в слободу и провозгласить, согласны ли мужики служить Петру Федоровичу, как начинался бунт, крестьяне вязали старосту, а пугачевцам несли хлеб-соль.

Чиновничий и купеческий Екатеринбург находился под угрозой полного окружения. Пугачевский полковник Иван Наумович Белобородов занял Кыштымские, Уфалейские, Сергинские заводы. Пал Красноуфимск. Отряды Белобородова осадили Ачитскую крепость, заняли Багаряк. Из Екатеринбурга оставалась одна свободная дорога на Верхотурье. По ней то и дело из города мчались возки, на которых «благородные» заблаговременно покидали свое городское жительство вместе с имуществом.

В эти дни охваченный страхом перед надвигающимся пожаром народного восстания полковник Бибииков писал высокому начальству в Казань и Москву: «Екатеринбург в опасности от внутренних предательств и измены. Зло распространяется весьма далеко. Позвольте и теперь мне повторить: не неприятель опасен, какое бы множество его не было, но народное колебание, дух бунта и смятение».

Наступило 18 января.

Бибииков ожидал на совещание членов Горной канцелярии. В кабинете было холодно и неуютно, так же холодно, как и на душе.

Потрескивали в камине дрова. Большие настольные часы с бронзовыми фавном и вакханкой по бокам спокойно отсчитывали время.

Бибииков подошел к окну. На углу Уктусской и Проспективной полосатая будка. Будочник в тулупе с алебардой в руках прохаживается около своего поста. Вон проехал драгунский патруль. Можно ли положиться на воинские команды в том случае, если злодей подступит к стенам города-крепости?

Нет, только решительными мерами можно пресечь непокорство. На площади в морозном тумане маячит виселица с телами казненных. Полковник сам допрашивал бунтовщиков. Один из них — с лицом, горевшим злобой, после встряски на дыбе сказал судьям, точно плюнул:

— Ужо придет батюшка-государь, он с вас башки поснимает, енералы!

Откуда такая злоба, такая дерзость, такое неповиновение?

Полковник вздохнул. Мысли его перенеслись в недавнее прошлое, когда он спокойно

жил в своем имении. Там кабинет его украшали фрески на мифологические сюжеты, трельяж, оббитый плющом, мягкий диван, а по обе стороны — подстольники с венсенским фарфором. Милые сердцу безделушки!

Надоест деревенская тишина — он едет в дормезе с десятком гайдуков в Москву. Здесь бывшие сослуживцы, красивые женщины, балы, игра в фаро. Мир покоя и счастья, роскоши и наслаждений — этот мир казался ему непоколебимым в своих устоях. В деревнях крепостные покорно отбывали барщину, старосты аккуратно отправляли в барские усадьбы обозы со всяким добром, дворовая челядь прислуживала господам. Все были довольны и благополучны, и вдруг — как будто произошло трясение самой земли — послушные трудолюбивые пейзажи образовали толпы разъяренных мужиков, и предводитель этой мятежной орды, беглый донской казак Емельян Пугачев, идет кровавой дорогой от Оренбургских степей и Яика.

Его имя не сходит с уст. О нем говорят в дворянском собрании, шепчутся по заугольям городские мещане и верхисетские мастеровые...

В восемь часов съехались на совет горные чины. Все они встревожены, под глазами темные круги — многие проводят бессонные ночи. Каждый час может принести известие о появлении вблизи города отрядов самозванца.

— Я собрал вас, господа, — начал Бибиков, стараясь сохранить полное спокойствие, — я позвал вас, дабы вкупе с вами обсудить положение в городе и провинции. Предупреждаю, что оно сугубо опасно. На мою просьбу прислать воинское подкрепление генерал Деколонт уклонился от ответа. Ачитская крепость занята мятежниками. Крестьяне, взятые из приписных слобод и почисленные в воинскую команду, обратили оружие против офицеров, связали и выдали их злодеям...

Горные чины в страхе переглянулись.

— Что же будет с нами, с нашими семьями?

— Какие меры думаете вы предпринять?

— Нужны самые решительные меры! — воскликнул Башмаков.

— Обсудим сии меры со спокойной головой, — отвечал полковник. — Я уже запросил воинскую помощь из Казани и Тобольска.

— А если ее не будет?

— Тогда... тогда разрешаю всем благородным покинуть город.

— То-есть бежать, куда глаза глядят? — дерзко крикнул Башмаков.

Бибиков вынул из-за борта камзола батистовый кружевной платок и нервно отер пот со лба. Чего он хочет от него, этот чиновник с лицом палача? Может быть, он думает взять бразды правления в свои руки? Негодяй!

В дверь постучали.

— Войдите!

Вошел дежурный офицер и, отдав честь, отрапортовал:

— Мятежники заняли Сылвенский завод и подходят к Шайтанскому. Заводские власти только что прибыли в город.

Потрясенные сообщением, члены Горной канцелярии безмолвствовали.

В Шайтанке все население вышло на улицу встречать народное войско. С церковной колокольни раздавался пасхальный трезвон.

На изогнутой по увалу Проезжей улице показались верховые с пиками, с ружьями. Впереди на малорослой казачьей лошадке ехал старик с седой клинообразной бородой, с колючими темными глазами. На нем была добрая казачья справа — овчинный полушубок, черная баранья шапка с алым верхом и сабля сбоку.

Народ стоял по обе стороны улицы. Слышались крики:

— Ура, казаки! Слава государю Петру Федоровичу!

— Нешто это только казаки, — сказал кто-то, — вон за атаманом-то едет сылвенский молотовой мастер Данилов, а поодаль Тимошка Щука из Нижних Серег... Глядите, глядите,

вон наш Илюха Чеканов... Илюшка!

— Как хоть звать-то атамана, Илья?

— Иван Наумович Белобородов, — степенно ответил Илюшка и гордо поглядел на земляков.

— Вишь ты, как есть атаман Золотой, наш Илюшка. Его отводочка.

— Ну и сила валит! — с восторгом говорили шайтанцы, увидав, как за конницей провезли пушки с ядрами, а дальше потянулось множество пеших заводских людей и крестьян, вооруженных чем попало.

Возле заводской конторы столетний дед, завезенный на Каменный Пояс еще Акинфием Демидовым, под гул одобрения всей толпы поднес атаману хлеб-соль на большом медном блюде, накрытом полотенцем.

Белобородов слез с коня, принял хлеб-соль и, сняв шапку, сказал громким голосом:

— Здрав будь, народ крещеный! Государь-батюшка награждает вас древним крестом и молитвою, вольностью и свободою... Живите благополучно.

— Ура! — прокатилось по площади.

— Читай, Дементий, — обратился Белобородов к разбитному белобрысому парню, стоявшему рядом с манифестом в руках.

Тот читал, и каждое слово падало в сердце мастеровых, как призыв к отмщению за казненных отцов и братьев.

«Повелеваем сим нашим именным указом: кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, оных противников нашей власти и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они чинили с вами, крестьянами, по истреблении которых противников и злодеев дворян, всякий может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжаться будет».

— Правильные слова!

— Привел бог дожить до светлого дня.

— Дворян, что волков, до последнего убивать надо.

Белобородов махнул рукой, и все стихло.

— А теперь, ребяташки, надо нам подумать, как волю удержать. В Екатеринбурге не дремлют, и мы должны к отпору подготовиться. Кто желает постоять за правое дело, вооружайся и становись в колонну.

— Мы все готовые, — крикнул Григорий Рюков, подходя к атаману.

И тот, глядя на его горевшее удалью лицо, молвил весело:

— Таких казаков нам и надо.

— Мы все такие, — отвечал Степан Карпов, родной брат казненного Василия Карпова, и тоже пошел к атаману. — Пиши!

Следом за ним двинулись густой толпой остальные шайтанцы, и старые и молодые.

— Погляди, Дементий, сколь дружный народ, — сказал Белобородов. — Учини запись и тех, кои помогутнее, отбери в завтрашний поход.

Так снова бесстрашно поднялись шайтанцы на самый большой мятеж — на войну народную.